

Роман

Сладостно и почетно

16+

Юрий Слепухин

Юрий Слепухин
Сладостно и почетно

«ЛитРес: Самиздат»

1983

Слепухин Ю.

Сладостно и почетно / Ю. Слепухин — «ЛитРес: Самиздат»,
1983

Третья книга тетралогии Ю. Г. Слепухина о Второй мировой войне. Действие происходит в Германии – с января 1943-го до весны 1945-го. Судьба Людмилы Земцевой, угнанной на принудительные работы в Германию, оказывается тесно связанной с судьбой капитана вермахта Эриха Дорнбергера – ученого-физика, вывезенного из «сталинградского котла» для работы в немецком «урановом проекте», ставшего участником «заговора генералов» 20 июля 1944-го. Подробно описано развитие заговора, наряду с вымышленными действуют исторические лица. Мистические неудачи попыток устранения Гитлера – непродуманность действий заговорщиков или неумолимый ход Истории? Людмила и Эрих полюбили друг друга, но их любовь не имеет будущего. Представлены антифашистские круги Германии, судьбы «остарбайтеров». Впервые в нашей литературе описана варварская бомбежка Дрездена союзниками. Роман в описании исторических событий строго документален.

© Слепухин Ю., 1983

© ЛитРес: Самиздат, 1983

Содержание

Часть первая	5
Глава 1	5
Глава 2	22
Глава 3	30
Глава 4	42
Глава 5	51
Глава 6	69
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Юрий Слепухин

Сладостно и почетно

Часть первая

Глава 1

Огневые позиции были оборудованы кое-как, наспех, немцы либо не ждали танкового удара на этом направлении, либо у них просто не оставалось уже ни времени, ни сил рыть орудийные окопы полного профиля, долбить кирками эту на полметра вглубь прокаленную лютым морозом землю; пушка стояла почти открыто, лишь для маскировки обвалованная как попало накиданными комьями грязного снега, она металась в перекрестье прицела, и низко летящий дым то и дело скрывал ее, но потом она снова появлялась в поле зрения – с каждым разом ближе. Вот сейчас... сейчас... Механик-водитель газовал по-славянски, на всю железку, их кидало вверх-вниз, тут под снегом были, видать, в августе еще понарытые окопчики, стрелковые ячейки, а может, и просто воронки – небольшие, от снарядов...

С двухсот примерно метров – уже были хорошо различимы у орудия фигурки в серо-зеленом – лейтенант наконец выстрелил, ударил осколочным, и хорошо ударил: пушка завалилась набок и серо-зеленых не стало. А потом гроыхнуло под броневым днищем, заскрежетало железо, с хрустом разламываясь и сминаясь, танк со всего размаха ухнул куда-то вниз – но тут же выровнялся, попер дальше, утробно взревев двигателем на перегазовке.

Здесь дым был еще чернее и гуще: видно, загорелись аэродромные склады ГСМ; лейтенант припал к обрезиненному окуляру перископа, ничего не увидел и обеими руками толкнул вверх тяжелую броневую крышку командирского люка. По пояс высунувшись из башни, он сначала глянул налево, инстинктивно отворачивая лицо от косо секущего снега вперемешку с чадной масляной копотью (ну, точно, накрылись у фрицев горюче-смазочные); «сто шестая» обогнала их чуть не впритирку, лихо ныряя и раскачивая стволом пушки, и из-за сдвоенного рева обеих машин он не сразу услышал другой звук, менее привычный уху танкиста.

Звук сносило ветром, но он нарастал стремительно, словно разбухая. Лейтенант только успел повернуть голову, как прямо по курсу и наперерез выбежал из дыма большой трехмоторный самолет – он был совсем близко или показался ближе, чем в действительности, и не летел, а именно бежал – в снежной пыли от винтов, уже оторвав от земли хвостовой костыль. Это был транспортный «юнкерс» с неуклюжим коробчатым фюзеляжем, похожим на вагон, весь в больших буквах и цифрах, а посередке – огромный черный крест, окантованный белыми углами. Самолет мог, конечно, и только что приземлиться, но вряд ли: даже при такой видимости летчики не могли бы не увидеть сверху, что тут творится. Следовательно, «юнкерс» шел на взлет.

Все это лейтенант сообразил в долю секунды, соскальзывая на свое сиденье. Уже схватившись за маховичок поворота башни, он крикнул вниз, в чадную грохочущую темень боевого отсека:

– Правее, правее забирай! – и для пущей верности привычно пнул водителя в соответствующее направлению маневра плечо.

Машина крутнулась, резко тормознув правой гусеницей. Лейтенант, в азарте прикусив губу, яростно вертел маховичок ручного привода, ведя стволом длинной восьмидесятипяти-миллиметровки вслед за удаляющимся уже самолетом.

– Термитный! – крикнул он заряжающему, прижавшись к налобнику прицела, и взял еще чуть правее, делая поправку на упреждение. Уже нажимая педаль спуска, он каким-то шестым чувством предугадал ошибку, промах; казенник пушки отлетел назад с чудовищным грохотом (люк так и оставался незакрытым) и снова пошел вперед – уже плавно, бесшумно; лязгнула вывалившаяся в мешок гильза, едко завоняло сгоревшим пироксилином. Лейтенант, горестно матюгнувшись, выглянул из люка и успел еще увидеть исчезающую в буране огромную крылатую тень.

Носилки Эриха Дорнбергера стояли на полу у самой переборки. Гофрированный дюраль гудел и резонировал, как огромная мембрана, а иногда что-то начинало звенеть тонко, по-комариному – непонятным образом все это было слышно даже сквозь рев моторов. Наверное, разболтавшаяся заклепка; удивительно, что эти старые колымаги еще летают. Дюраль был покрыт инеем, тонким слоем чистого и нежного снега, непорочная его белизна казалась здесь чем-то кощунственным, не укладывалась в сознании. В кабине пахло металлом и бензином, но еще сильнее был этот страшный запах, к которому он так и не смог привыкнуть там, внизу, – запах гниющих ран в неделями не менявшихся повязках, запах больного немытого человеческого тела. Запах не просто войны – запах проигранной войны, запах катастрофы, распада, гибели...

Итак, мы все же летим, сказал он себе с тем же отрешенным безразличием, с каким только что думал об ослабшей в своем гнезде заклепке, о живучести и выносливости старых Ю-52. Значит, этому все же удалось взлететь, произошло чудо – ненужное, непрошеное. По крайней мере, для него. Он не ждал и не надеялся. Ему лучше было бы умереть там, внизу, и гораздо раньше – в августе, в сентябре; блаженны умершие вовремя.

Данте был, в сущности, человеком без фантазии, сейчас это совершенно очевидно, даже если учитывать поправку на семьсот лет так называемого «прогресса». Капитан Дорнбергер закрыл глаза и снова увидел заснеженные развалины станции и жалких лачуг, бывших когда-то поселком Гумрак, длинные ряды примерзших к рельсам товарных вагонов, набитых ранеными, больными, обмороженными и сошедшими с ума, штабели трупов, которые уже не успевали хоронить, переполненные ампутированными конечностями выгребные ямы, «юнkers» резко качнуло, но он снова выпрямился и продолжал лететь, монотонно подвывая перегруженными моторами. Неужели так и не сойдут, подумал капитан.

Судя по времени, они уже должны были быть у западной оконечности «воздушного моста», по которому еще осуществлялась транспортная связь с районом окружения. Самолеты садились на ближайших прифронтовых аэродромах, выгружали раненых и сразу же, едва успев заправиться и погрузить продовольствие и боеприпасы для 6-й армии, вылетали обратно. С каждым днем самолетов оставалось все меньше, а летать приходилось дальше и дальше – сначала с Котельнического и Чернышковского аэродромов, потом из Зимовников, из Тацинской, из Миллерова...

Капитан пошевелился, пытаясь выпростать руку, чтобы посмотреть на часы; но сил не хватило, санитары при погрузке слишком плотно укутали его поверх шинели каким-то обрывком брезента. Сердце затрепыхалось, он почувствовал, как на лбу выступает холодная испарина, стало подташнивать. Вдобавок попытка шевельнуться разбредила раненую ногу – та ожила, стала опять наливаясь тупой пульсирующей болью. Проклятое полено, подумал он, стискивая зубы, хоть бы его поскорее откромсали... Скажем прямо, остаться инвалидом в данной ситуации – не худший из вариантов. Непонятно только, зачем и кому понадобилось эвакуировать его из «котла» – какого-то вшивого армейского капитана, командира (бывшего) саперной роты (давно уже не существующей). Высшие чины, сплошь и рядом, безуспешно ждали эвакуации – начиная уже с конца ноября на этот счет были введены строжайшие правила. Несколько дней назад какой-то рехнувшийся полковник из штаба 11-го армейского корпуса ухитрился спрятаться на улетавшем самолете; его, естественно, расстреляли на месте, едва

самолет приземлился, и незадачливый заяц был обнаружен. Командир корпуса, правда, требовал по радио, чтобы для расстрела его вернули в расположение части – дабы другим было неповадно; но это сочли излишним, доставка в «котел» каждого килограмма груза обходилась слишком дорого...

Лежащий рядом заворочался, толкая его носилки, долго кашлял сухим надрывным кашлем, потом выругался хрипло и обессиленно.

– Сколько мы уже летим? – спросил капитан, не поворачивая головы.

– Почти час, – отозвался сосед. – В Шахты, надо полагать. Ближе не осталось ни одного аэродрома.

– Тогда скоро посадка, – сказал Дорнбергер, вспомнив карту. До Шахтинского аэродрома от Гумрака около трехсот километров, час полета.

Но этот час прошел, а потом и другой, а они все еще были в воздухе. Простуженный сосед капитана Дорнбергера тоже выразил недоумение: похоже, что их решили доставить прямо за Днепр, это уж было прямое расточительство – транспортный самолет, один из тех немногих, от безотказной работы которых зависела боеспособность остатков окруженной армии, сейчас без толку сжигал драгоценный бензин над собственной территорией. Кто-то среди эвакуируемых был, вероятно, очень уж важной шишкой, хотя по-настоящему важные смылись уже давно, еще в конце ноября.

«Юнкерс» пошел на снижение в четырнадцать с минутами. Он еще катился, раскачиваясь и подпрыгивая на неровностях посадочной полосы, когда из двери пилотской кабины высунулся один из членов экипажа и крикнул, подражая интонациям кондукторов берлинского трамвая:

– Остановка «Запорожье», кому выходить, пожалуйста!

В Гумраке носилки с капитаном Дорнбергером засунули в фюзеляж одними из последних, поэтому здесь при выгрузке он оказался среди первых. Следом вынесли его простуженного соседа – капитан успел увидеть алый лацкан и толстое серебряное плетение генеральского погона. Я был прав, подумал он, и наверняка он здесь не один. Пока военнопленные из команды аэродромного обслуживания несли его к стоящему поодаль госпитальному автобусу, он повернул голову и увидел рядом два штабных лимузина в облупленном зимнем камуфляже – простуженного генерала понесли к одному из них, туда же направился в сопровождении медсестры еще один из прилетевших. Узнав начальника инженерной службы армии полковника Зелле, Дорнбергер еще раз подивился, как это ему – капитану – довелось попасть в число пассажиров столь явного спецрейса.

С погрузкой в автобус задерживались: возможно, там не хватило мест или шла какая-то проверка. Носилки капитана спустили на снег рядом с другими, он с усилием высвободил руку из меховой рукавицы, потрогал снег – мокрый, талый. Здесь было не по-январски тепло, вероятно один-два градуса выше нуля. Над аэродромом уже опускались синеватые сумерки. Дорнбергер посмотрел на часы, было всего три. Он подумал, что в России вообще темнеет удивительно рано, но тут же сообразил – время-то берлинское, без поправки на два часовых пояса. На самом деле, значит, уже пять – что ж, это ближе к истине. Прошли на посадку еще два «юнкерса», почти один за другим. С темнеющего неба легко падала какая-то тончайшая изморось – мелкий дождь или талый снег, было совсем тепло. А там, на востоке, над Гумраком, над Воропоновом, над Городищем, над мертвыми руинами Сталинграда, неподвижно стыл прокаленный двадцатиградусными морозами воздух, и стужа казалась еще страшнее от висящего низко над степным горизонтом алого ледяного солнца. Это лишь в последнюю ночь погода резко изменилась – подул сильный юго-западный ветер, потеплело, пошел снег; утром началась метель, оказавшаяся для него спасительной. Еще накануне – при хорошей видимости – их самолету не удалось бы ускользнуть. А видимость оставалась отличной весь последний месяц, сотрудники штаба то и дело подходили к барометру, стучали по стеклу, надеясь, что стрелка

сдвинется влево хоть на миллиметр, предвещая оттепель; но стрелка стояла как примерзшая, оттепелей не было, природа в таких случаях особенно беспощадна к людям. Капитан вспомнил, как один офицер из группы армий «Север» рассказывал о небывалых прошлогодних морозах под Ленинградом, – страшно представить, во что обошелся этот каприз погоды жителям блокированного города. А теперь пришла наша очередь; мир устроен куда более справедливо, чем принято думать. И это уже не назовешь капризом, здесь скорее усматриваешь жестокую закономерность: сам климат этой оскверненной нами страны вымораживает нас, как русские крестьянки морозят поселившихся в избе тараканов...

На него опять накатила обморочная слабость, вернулось притупившееся было на время чувство мучительного голода, но сознание оставалось удивительно ясным, даже обострилось. Словно выходя из оцепенения последних недель, капитан Дорнбергер начинал медленно осознавать то, во что еще не верилось ни в воздухе, ни там, на земле, когда он впервые узнал, что назначен к эвакуации. Он вдруг поверил, что действительно спасся, вырвался, унес ноги. Там, в «котле», он не хотел этого (отчасти потому, что давно приучил себя не хотеть недостижимого), и ничего не предпринимал для собственного спасения. Хотя предпринимать было практически нечего, некоторые все же пытались. Он – нет. Отнюдь не во имя каких-либо высоких идеалов, и даже не потому, что прекрасно отдавал себе отчет в бессмысленности всяких попыток самоспасения. Просто ему давно уже было наплевать. По сути дела, не оставалось ради чего жить. И странно, какой нерассуждающей животной радостью медленно входила сейчас в него несмелая мысль о том, что это еще не все, что ему еще суждено пожить какое-то время – даже под этим равнодушным небом, даже на этой страшной земле... Холодная капля щекоотно скатилась по виску, он поднял руку, чтобы обтереть мокрое от талого снега лицо, и понял, что это не снег и не дождь, у него просто текли слезы.

Подошел еще один автобус, раненых стали грузить. Немолодая медсестра с серым от усталости лицом, обходя ряды носилок, задержалась возле Дорнбергера и, наклонившись, вложила ему в губы какую-то круглую лепешечку.

– Возьмите в рот, – сказала она заученно, – сосите до растворения или медленно разжуйте, это тонизирует...

Он не сразу ощутил вкус, но тут же гортань стиснуло голодной судорогой, он стал жадно сосать, это оказалась шоко-кола.

– ...Спокойно, спокойно, – продолжала сестра усталым голосом, видимо повторяя то, что уже говорила сотне других раненых, – с вами все в порядке, сейчас вы пройдете санитарную обработку и перевязку, получите горячую пищу, на родину вас отправят ближайшим поездом, завтра или послезавтра...

– Скажите, сестра, – с трудом выговорил капитан, – какое сегодня число?

– Сегодня девятнадцатое, – ответила та, уже отходя к следующему, и уточнила, словно не будучи уверенной, что они там, в «котле», сохранили еще способность вести счет месяцев: – Девятнадцатое января тысяча девятьсот сорок третьего года...

Тем временем к уже разгруженному «юнкерсу» подошел фельдфебель аэродромной охраны и спросил командира корабля, лейтенанта Фрелиха. Командир, только что вышедший из кабины, глянул на него вопросительно.

– Господина лейтенанта просят безотлагательно явиться к коменданту аэродрома! – вытянувшись, доложил фельдфебель. – С вашего позволения, я провожу.

– К коменданту, меня? – Фрелих недоуменно пожал плечами и окликнул второго пилота: – Хорст, я схожу узнаю, а ты тут поторопи с заправкой, и пусть Клаус не забудет проверить давление в левой маслomagистрaли. Я быстро!

В помещении комендатуры его встретил штурмфюрер в серо-зеленой полевой форме войск СС.

– Это вы, что ли, здешний комендант? – спросил летчик.

– Комендант вышел, – ответил эсэсовец и добавил негромко, будничным тоном: – Вы арестованы, попрошу сдать оружие.

– Что-что? – легчик улыбнулся. – Вроде бы еще не первое апреля, а? Так мне коменданта дожидаться здесь, что ли? На черта я ему сдался, не понимаю. Еле на ногах держусь – второй рейс без отдыха, а оттуда сегодня выскочили буквально у ивана из-под гусениц – один уже выехал прямо на взлетную полосу, еще бы минута, и...

– Сдайте оружие, Фрелих, – повторил штурмфюрер.

Только теперь до лейтенанта наконец дошло. Он умолк, словно поперхнувшись, рука его поползла к кобуре – но сзади уже навалились, пригнули, заламывая локти; он стал вырываться, почувствовал на запястьях холодок металла, негромкий отчетливый щелчок. Штурмфюрер, подойдя вплотную, наискось – от правого плеча к поясу – раздернул молнию лётного комбинезона и сорвал с мундира Фрелиха Железный крест.

– Ты, дерьмовая тыловая вошь, – выдавил сквозь зубы лейтенант. – Интересно, чем ты занимался в то время, когда мы возили десанты на Крит! Крамолу искал у баб под юбками?

– В машину его, – тем же будничным тоном бросил штурмфюрер, направляясь к двери.

Нет, Фрелих действительно ничего не понимал. С кем-нибудь спутали? Фамилия обычная, лейтенантов с такой фамилией наверняка наберется в люфтваффе не одна сотня; вполне возможно, кто-то там чего-то натворил, а прихватили стгоряча его... тем более, даже не в районе дислокации эскадрильи, это уж явно показывает, что здесь ошибка. Если бы речь шла о нем, то там бы и взяли, на месте. Ерунда какая-то, думал лейтенант, сидя на заднем сиденье между двух каменно зажавших его плечами гефеповцев¹, лишь бы поскорее на допрос, уж следователь темнить не станет...

Так оно и получилось. Фрелиха привезли, тщательно обыскали, отобрали все, что положено отбирать у арестованного, и в одном мундире – уже без ремня и погонцов – заперли в одиночке. А через полчаса, не успев он еще и освоиться на новом месте, его вызвали на допрос.

– Вы, конечно, удивлены, – сказал следователь, – и считаете случившееся недоразумением? Верно, Фрелих. Я тоже склонен думать, что это не более чем недоразумение.

– Черт побери! – воскликнул сразу повеселевший лейтенант, – А я и не сомневался ни на минуту!

– Позвольте мне кончить. Я ознакомился с вашим послужным списком, Фрелих, и я не верю, что такой заслуженный боевой офицер может быть предателем или пораженцем. Поэтому то, что вы вели пораженческие разговоры, следует считать...

– Пораженческие разговоры? Какие пораженческие разговоры?!

– Не перебивайте, пожалуйста. Здесь полагается слушать молча, а отвечать только на вопросы. И не задавать их! Уяснили?

– Так точно, уяснил.

– Вот и хорошо. Итак, мне хотелось бы верить, что вы вели пораженческую пропаганду не по собственному умыслу, а находясь под чьим-то влиянием. Это вещи разные. Повторить подсказанное, не дав себе труда задуматься над смыслом, –

это проступок, серьезный, в некоторых случаях даже весьма серьезный, но не более.

А вот самому измышлять и распространять пораженческие слухи – это уже совсем другое. Это уже измена, Фрелих, измена и нарушение присяги. Улавливаете разницу?

– Так точно. Но я не совсем...

– Не совсем понимаете, догадываюсь. Хорошо! Как говорится, карты на стол. Неделю назад, то есть двенадцатого января, вы провели вечер в офицерском казино авиабазы – припоминаете?

¹ «Гефепо» – сокр. от «Geheime Feldpolizei» (нем.) – тайная полевая полиция, военное гестапо.

– Двенадцатого? – Фрелих задумался. – Да, пожалуй... Двенадцатого, если не путаю, день у меня был свободный, без вылетов.

– Прекрасно. А теперь вспомните, о чем говорилось за вашим столом. И что, в частности, говорили вы сами.

– А черт его знает, о чем! Знай я, что через неделю мне зададут этот вопрос, то сидел бы и записывал. А так я пил. Обо всем, наверное, говорили.

– Например, о положении в «котле»?

– Да уж наверняка! Если мы летаем туда, то уж наверное и обсуждаем то, что там видим, верно?

– Вы говорили, что положение Шестой армии безнадежно, поскольку авиация не в силах ее снабжать?

– Может, и говорил. Не помню уже. Говорил, наверное.

– И после этого вы спрашиваете меня, «какие пораженческие разговоры»?

– Так вы это считаете пораженчеством? Ничего себе! – Фрелих рассмеялся. – О том, что мы не можем обеспечить снабжение, знает любой дурак. Паулосу требуется как минимум шестьсот тонн продовольствия, горючего и боеприпасов в сутки; это триста самолетовылетов, поскольку больше двух тонн наши тарактелки взять на борт не могут, хоть лопни. А можем мы обеспечить триста рейсов в сутки? Да на сегодняшний день весь наш 4-й флот не располагает и сотней исправных машин! И после каждого вылета их остается меньше и меньше – степь вокруг Гумрака усыпана обломками наших «юнкеров»!

– Так вы, Фрелих, считаете, что эти печальные факты и цифры следует доводить до всеобщего сведения?

– До чьего сведения?! – крикнул лейтенант, теряя терпение. – Мы что, по-вашему, русских об этом информируем? Я говорил со своими товарищами по эскадрилье, которые не хуже меня знают обстановку!

– Не прикидывайтесь наивным младенцем, Фрелих. Есть вещи, о которых можно знать, но о которых нельзя говорить вслух. Тем более в армии. Пораженческая пропаганда, да будет вам известно, это не только распространение ложных слухов; это в первую очередь – использование действительных фактов для подрыва боевого духа нации. Для создания психологического климата неверия в победу, понимаете? Это и есть то, что вам инкриминируется. Скажу откровенно, Фрелих: положение ваше крайне серьезно. И единственное, чем вы можете себе помочь, это ваша готовность помочь нам, откровенно ответив на все интересующие нас вопросы. А интересует нас вот что: кто из офицеров эскадрильи заводил с вами разговоры на эту тему, поддерживал их или сообщал вам цифровые данные вроде тех, что вы только что сообщили мне. Этот мой вопрос вам ясен?

– Да уж куда яснее! Но только что я могу ответить? – Фрелих непринужденно пожал плечами. – Цифры эти известны каждому, включая нашего аэродромного кобеля, специально «разговоров на эту тему» никто со мной не заводил, а ведут их все.

– Конкретнее, прошу вас. Мне нужны имена.

– Э, вот это нет! У вас, как я понимаю, есть там свои шпики, раз уже успели насвистеть, с кем и о чем я трепался за выпивкой. Вот пусть они и делают свое дело. А я, уважаемый, никаких имен называть не намерен; и не потому, что там что-то тайное, какая, к черту, тайна, если это у всех на языке; но вот, предположим, назвал я кого-то – капитан Шмидт, лейтенант Майер, – а вы потом этих Шмидта, или Майера, или Мюллера возьмете на цугундер, а на допросе скажете – против вас, мол, имеется показание некоего Фрелиха, – как я после этого буду перед ними выглядеть?

Следователь улыбнулся, покачал головой.

– Вот уж о чем я бы на вашем месте не беспокоился. Вы, Фрелих, достаточно плохо выглядите уже сейчас. Вы попали в чертовски скверную историю. Дело в том, что командо-

вание с некоторых пор недовольно настроениями личного состава 4-го воздушного флота – настроениями, скажем прямо, упадническими и пораженческими. Отчасти это может объясняться естественными причинами: ведь именно вашим эскадрильям приходится осуществлять связь с «котлом», и это, вероятно, в конечном счете не может не оказывать известного деморализующего влияния. Но не исключено и влияние вражеской пропаганды. Я буду с вами предельно откровенен, Фрелих. Моему начальству более по душе вторая версия, и поэтому источник этой вражеской пропаганды нам приказано найти и обезвредить, причем найти быстро. Понимаете? Я искренне желаю вам добра, вы молоды – двадцать восемь лет, все еще впереди; не осложняйте же своего положения, помогите нам, и я помогу вам выбраться из этой истории с наименьшим ущербом...

– Это, значит, заложить товарищей вы называете «выбраться с наименьшим ущербом»?

– Послушайте, Фрелих. Вы все-таки, я вижу, до сих пор не поняли главного. Учреждение, в котором вы находитесь, называется военной контрразведкой. Мы работаем в особых условиях, подчас не дающих нам возможность придерживаться обычных норм процессуального права. Вы меня понимаете? Иногда приходится применять методы, которые официально считаются давно вышедшими из употребления. Негласно – но приходится, что же делать. Мне не хотелось бы...

– Да пошли вы к свиньям собачьим с вашими проповедями, – сказал лейтенант. – Закурить есть? – у меня ведь отобрали.

Следователь молча положил перед ним сигареты и зажигалку.

– Словом, подумайте, – сказал он, вставая из-за стола. – В вашем распоряжении пятнадцать минут – если захотите говорить, снимите трубку и попросите вызвать меня.

Он придвинул на край стола телефонный аппарат без диска и вышел. Лейтенант закурил, обвел комнату взглядом – окон не было, потолок низкий, давящий. Да, гнусное помещенье, вот уж влип так влип. А ведь это конец, подумал он, жадно затягиваясь, отсюда уже не выберешься. Глупо, черт. Хотя не все ли равно? – там ведь тоже не сегодня-завтра. И так чудо, что еще жив! Летающих на «Ю-52» называют смертниками, вполне заслуженно называют. Тихоходные, практически безоружные, эти машины всегда нуждались в сильном эскорте, а теперь какие же, к черту, истребители... Он выкурил подряд две сигареты, потянулся было за третьей, но дверь отворилась и вошел давешний штурмфюрер. А с ним еще двое – борцовского вида, в расстегнутых рубашках и черных бриджах.

– А, старые знакомые, – сказал лейтенант. – Опять вошка приползла?

Штурмфюрер сделал знак, один из его подручных подошел к лейтенанту, поднял со стула, взяв за отвороты кителя, и без размаха ударил в лицо. Лейтенант отлетел к стене, чудом удержавшись на ногах; когда в голове прояснилось, он оттолкнулся плечом и сделал шаг вперед, постоял шатаясь, выплюнул наполняющую рот кровь. Левый глаз быстро затекал опухолью и уже почти не видел, он повернул голову, правым зрячим глядя на штурмфюрера.

– Не спортивно, вошка, – прохрипел он, чувствуя, как острые обломки зубов колют язык. – Одного – втроем? Ты бы еще наручники велел надеть, а то вдруг сдачи дам. Кстати, крестик мой где? Надень уж, покрасуйся, самому ведь не заработать!

Штурмфюрер медленно улыбнулся.

– При аресте, Фрелих, вы задали мне один вопрос, – сказал он любезным тоном. – Что-то связанное с Критом, если не ошибаюсь. Не напомните, о чем шла речь?

– Охотно! Я спросил, чем вы все занимаетесь – ты и тебе подобное кошачье дерьмо – пока солдаты умирают за Великую Германию!

Штурмфюрер понимающе покивал.

– Ну что ж. Не менее охотно я удовлетворю ваше любопытство, – он обернулся к своим подручным, – Вы слышали, что спросил господин Фрелих? Продемонстрируйте этому герою, в чем состоит наша служба...

Тремя месяцами позже, в конце апреля. Эрих Дорнбергер находился в военном санатории для выздоравливающих в одном из небольших городков Тюрингии. Ногу ему сохранили, хотя восстановить функцию коленного сустава полностью не удалось, и ходил он с палкой. Ходить врачи ему предписали как можно больше, чтобы разработать, как они выражались, поврежденное колено; но хождение, даже с палкой, утомляло его, и отведенное для терренкура время он обычно просиживал где-нибудь вне пределов визуальной досягаемости медперсонала. Апрель в Тюрингии был в этом году сухой и теплый, южные склоны пригорков уже ярко зеленели свежей травой, и можно было, подстелив халат, лежать на земле без риска простуды. Он всегда брал с собой две книги из санаторной библиотеки: «Фауста» и последний, изданный перед самой войной роман Фаллады. Выбор оказался совершенно случайным – Дорнбергер вообще не был любителем изящной словесности. Чтение всегда было для него лишь способом получения информации, и именно плотность информационного потока определяла в его глазах ценность книги или статьи, а следовательно и удовольствие, которое мог доставить данный материал.

Читать романы он, пожалуй, впервые начал на военной службе – в первый год, во Франции, когда было много свободного времени. В одном из городков на пути к Арроманшу бомбой разворотило стену дома, где помещалась какая-то библиотека; Дорнбергер, тогда еще лейтенант, велел денщику прихватить в мешок дюжину томов – книги валялись по всей улице, перемалываемые обратно в целлюлозу колесами и гусеницами 6-й танковой дивизии. Этой своей военной добычей он и пользовался потом для практики в языке, но без особых результатов и уж, во всяком случае, безо всякого удовольствия. Французским он владел достаточно для того, чтобы читать без словаря статьи в выпусках трудов «Коллеж де Франс», и то лишь посвященные одной узкоспециальной области; там был четкий, насыщенный точной терминологией язык, по сути дела, международный. Такое, скажем, словосочетание, как «спонтанная эмиссия электронов» – оно понятно любому олуху, будь то соотечественник Гана или Ферми, Жолио-Кюри или Резерфорда. А в романе с трудом преодолеваешь страницу за страницей сложнейших запутанных предложений, чтобы в конечном счете узнать, кто с кем переспал. Возможно, его денщик подобрал с тротуара не лучшие образцы французской беллетристики, но, так или иначе, добыча не произвела переворота в эстетических представлениях лейтенанта Дорнбергера. На том же примерно уровне оставались они и теперь, когда он дослужился до капитана.

Поэтому Гете и Фалладу он, уходя на предписанную прогулку, прихватывал с собой главным образом потому, что два этих томика удобно размещались в карманах халата и могли служить изголовьем. Обычно так они и использовались. Впрочем, финал «Фауста» Дорнбергеру нравился – не самый конец со святыми отшельниками и блаженными младенцами, а та сцена перед дворцом, где слепец упивается стуком лопат, принимая это за начало осуществления своих мелиоративных проектов. А на самом деле это лемуры роют ему могилу.

Вот и сегодня капитан почитал про лемуров, потом еще раз попытался одолеть сцену апофеоза, но опять безуспешно. «Патер серафикус», «патер экстатикус» – нет, его мозг определенно не рассчитан на такой кумулятивный удар мистики.

Литература, подумал он, засовывая книгу под голову, сокровищница человеческого духа! Грош всему этому цена, если одухотворенное человечество со своими фаустами и гамлетами в конечном счете докатилось до двух мировых войн.

Впрочем, пока еще не «в конечном». Пока еще не остановлен часовой механизм, еще исправно постукивает; лучше не заглядывать в будущее, пытаясь предугадать, до каких еще триумфов прогресса успеет он достучаться, пока все это не...

Вчера утром, бреясь, капитан поймал себя на том, что внимательно разглядывает в зеркале свою физиономию: может, с ним и впрямь не все в порядке? Если человек впервые в

тридцать пять лет (и пройдя то, что довелось пройти ему хотя бы за последние полгода) начинает замечать несовершенство окружающего мира – тут все же налицо какая-то отсталость.

Многие его сверстники начали испытывать тревогу куда раньше – лет пятнадцать назад, а уж десять-то и подавно. Он считал это пустой тратой умственной энергии. В какой-то степени, вероятно, он и не мог тогда думать иначе; тут ведь все зависит от масштаба восприятия, а мир слишком уж привычно воспринимался им на субатомарном уровне – какие тут могут быть социальные проблемы, какая политика? Он был совершенно уверен, что можно прожить жизнь, не имея ко всему этому ровно никакого отношения.

Интересно, что даже в армии, добровольно и сознательно перечеркнув все, что составляло смысл его жизни до осени тридцать девятого года, Эрих Дорнбергер долго еще не видел и не понимал характера этой войны. Что война вообще занятие варварское и недостойное цивилизованного человека, это он понимал; понимал и то, что мир был бы намного лучше, научись люди решать свои проблемы без применения оружия. Но мало ли чего нам хотелось бы! Оперировать следует реальными данностями: тем, что есть, а не тем, что могло бы быть. К тому же вопрос о причинах каждой войны всегда настолько запутан, что простому смертному тут и думать нечего разобраться, кто прав и кто виноват. Что говорить, Англия и Франция в свое время тоже вели себя не лучшим образом. Версаль, бесчеловечные репарации, а колониальный вопрос? Предать анафеме кайзеровский империализм, чтобы самим тут же прибрать к рукам германские колонии в Африке – это, скажем прямо, тоже не очень-то согласовывается с высокими принципами морали...

И потом, надо сказать, лейтенанту Дорнбергеру просто повезло в начале войны. Служил он в инженерных войсках, в боях во Франции не участвовал (да и какие там были бои!), а потом год проскучал на побережье Ла-Манша – днем присматривал за своими саперами, устанавливающими на пляжах минные поля и проволочные заграждения, а по вечерам читал трофейные романы. Осенью сорок первого его часть перебросили в Северную Африку, но и там было примерно то же: мины противотанковые, мины противопехотные, спирали Бруно и прочая ерунда, уже надоевшая ему до смерти. Словом, за два с половиной года в армии понятие «война» для лейтенанта, потом обер-лейтенанта, а потом и капитана Дорнбергера превратилось почти в синоним понятия «скука». А в июле сорок второго он получил очередной приказ, снова забрался в грузовой отсек очередного Ю-52 и – через Крит, Салоники, Бухарест – отбыл на Восточный фронт.

Там – и только там – началось его прозрение.

Все, что он увидел в России – начиная с того по-африкански знойного и пыльного дня, когда они ожидали переправы через Дон в нескольких километрах выше Ростова, а пикировщики Рихтхофена громили горящий город, накануне оставленный советскими войсками, и кончая последней ночью в промерзшем до космического холода, едва освещенном коптящими плашками подвале на станции Гумрак, где живых было уже не отличить от мертвых, а здоровых – от умирающих, – все, что он видел и пережил за эти шесть месяцев, не просто открыло ему глаза, оно вывернуло его наизнанку, сделало другим человеком. Раньше он обладал завидной способностью уходить от всего, что грозило усложнить жизнь, причем уход этот всегда осуществлялся как-то сам по себе, не приводя к нравственным конфликтам. От неприглядных реалий общественно-политической жизни Германии тридцатых годов проще всего было отгородиться наукой – и кто мог бы упрекнуть молодого физика за то, что он не покидал стен лаборатории, вместо того чтобы бегать по митингам и драться с коричневорубашечным хулиганьем Рема? Но потом стены зашатались. Интересовавшее его (как и многих других) направление теоретического поиска внезапно привело целую отрасль науки на край такой бездны, что у самых бесстрашных шевельнулись волосы, – словно сам Ад глянул на них из бездонных глубин искусственно разъятой, расщепленной материи...

И тогда ученый предпочел стать солдатом. Говоря иными словами, доктор Дорнбергер умыл руки. Благо, началась война, страна послушно становилась под ружье, миллионы людей оставляли свои привычные дела; и, если филологи превращались в панцер-гренадеров, почему бы физику не сделаться сапером? Проще простого: научись точно исполнять приказы – и никаких тебе моральных проблем...

Да, только в России открылась ему вся безнравственность его прежней жизненной позиции. Безнравственность, конечно, если судить по самым высоким, бескомпромиссным критериям, – но других, половинчатых, критериев уже не было, время компромиссов истекло, кончилось. Как некую бесспорную, совершенно реальную данность ощущал он теперь свою личную долю ответственности за апокалиптический кошмар войны, развязанной при молчаливом попустительстве таких, каким был недавно и он сам.

То, чем он всегда втайне гордился – умение не видеть, не обращать внимания, быть «выше всего этого», – теперь это саднило, как память о совершенном когда-то предательстве. Он не знал еще, как от этого избавиться, как искупить, но одно было ему совершенно ясно: как-то искупать придется. Нельзя побывать в преисподней – и продолжать жить бездумно и благополучно, как жил прежде...

Дорнбергер подремал с полчаса, пока его не разбудило переместившееся из-за ели солнце, потом посмотрел на часы и осторожно поднялся, поморщившись от привычной боли в колене. Ходить и в самом деле надо, подумал он. От хромоты, видно, уже не избавиться, но хоть бы болеть перестало, будь оно проклято... Хромая, он вышел на главную аллею и еще издали увидел дежурную сестру своего отделения, которая шла навстречу с каким-то штатским. Сестра, тоже увидев его, помахала рукой.

– Господин капитан, к вам посетитель! – крикнула она и, сказав что-то штатскому, повернула обратно к главному корпусу санатория. Ее спутник продолжал идти навстречу Дорнбергеру.

– Черт возьми, вот уж не ожидал! – сказал капитан, когда тот подошел ближе. – Господин Розе, вы-то каким образом здесь оказались?

Розе, круглый немолодой человечек с добродушной физиономией, украшенной старомодным пенсне, весь просиял и раскрыл объятия.

– Каким же еще образом я мог здесь оказаться, скажите на милость, самым обычным: сел да приехал... Здравствуйте, мой дорогой, бесконечно рад видеть вас живым и даже относительно здоровым – насколько можно судить по первому впечатлению, а также по заверениям милой дамы, которая была так любезна, что согласилась пойти вас разыскивать, что, по ее словам, не так просто, ибо вы почему-то всегда прячетесь...

Они полуобнялись, долго трясли друг другу руки. Пауль Розе, руководитель крупного научного издательства в Берлине, был одним из немногих людей, общение с которыми не удручало Эриха Дорнбергера.

– Так вы приехали сюда нарочно, чтобы меня повидать? – спросил он.

– А собственно, почему это вас так удивляет, милейший мой доктор? – воскликнул Розе, растягивая слова с мягким певучим акцентом уроженца Вены. – Я ведь, ежели изволите помнить, всегда был таким коммивояжером! Если бы я ждал, пока кто-либо из вашего брата соизволит приехать ко мне, то нам попросту нечего было бы печатать, ха-ха-ха...

– Помню, как же. У вас всегда был чертовский нюх на новости: чуть только начинается что-то удаваться, только-только забрезжит этакий лучик – редактор Розе уже тут как тут. Вы, наверное, знаете легенду, которая в связи с этим ходила среди нашей ассистентской молодежи? Приехал, дескать, однажды некий издатель в Лейпциг повидать Гейзенберга, того на месте не оказалось, пришлось ждать, и бедняга решил заглянуть к Ауэрбаху – пропустить пока кружку-другую. Ну, а в погребке к нему, как водится, подсел один очень давний тамошний завсегдатай и по традиции предложил сделку...

– Неужели опять насчет души?

– Именно! Короче говоря, из погребка издатель вышел, обогащенный даром этакой магической экспресс-информации: стоит лишь в полночь загадать имя, пукнуть погромче – и тут же узнаешь во всех деталях, какой проблемой занимается данное лицо, насколько успешно продвигается работа, далеко ли до завершения – словом, все решительно. Случай этот, говорят, имел место накануне последнего предвоенного рождества.

– В тридцать восьмом, стало быть.

– Так точно, в тридцать восьмом. Итак, вернувшись в Берлин, издатель решил проверить качество купленного товара: заперся у себя в кабинете, выждал, пока начали бить часы, поднатужился – ну, думает, хотя бы... профессор Отто Ган! – и произвел залп. И что же вы думаете? Лейпцигский приятель тут же вкрадчиво этак шепчет ему на ухо: «Сукин сын только что расколол атом урана, только не знает, как об этом написать, ты бы помог ему...»

Розе долго не мог успокоиться, заливаясь визгливым смехом.

– Верно, верно, – проговорил он наконец, утирая глаза платочком. – Написать я и впрямь помог, только все было гораздо пристойнее, без этого... раблезианства. В тот вечер Ган мне позвонил, попросил приехать. Они ведь со Штрассманом сами перепугались – решили посоветоваться, стоит ли вообще публиковать. Декабрьский номер “Естествознания” был уже в наборе, но я схватил черновик и помчался в типографию... там работала ночная смена. Пришлось выбросить один материал, но что поделаешь – новость того стоила!

Дорнбергер помолчал, резиновым набалдашником палки вдавливая в песке симметрично расположенные по вершинам треугольника лунки.

– Да, – сказал он наконец. – Пожалуй, лучше было бы не публиковать... вообще. Нет, я даже не о той статье Гана и Штрассмана. Тогда ведь – почти одновременно – опубликовали свои работы и другие... Фриш с Мейтнер, потом Дросте, Флюгге... Что ж, подошло время, и никто не мог заглянуть в будущее. Если бы немного осторожности...

– О, это ничего бы не изменило, поверьте.

– Да, вероятно. Пойдемте, дорогой Розе, присядем, у меня что-то разболелась нога...

Они дошли до скамейки, сели. Дорнбергер глянул вправо и влево – аллея была пустынна.

– Раз уж мы коснулись этой темы, – сказал он, улыбаясь несколько натянуто, – проинформируйте меня в самых общих чертах... что у вас там сейчас происходит.

– А ничего не происходит! – весело отозвался Розе. – Вернее, происходит то же, что и всегда – грызня, соперничество, взаимопоедание мелкими порциями. Во главе проекта теперь Эзау, Дибнера из института благополучно выжили – бедняга обижен, но зато вся его энергия направлена теперь на создание действующего реактора. Больше всего боится, как бы его не опередил Гейзенберг. Ну а Гейзенберг занимается той же алхимией у себя в Лейпциге...

– Ваш приятель из погребка ему не помогает?

– Нет, судя по отсутствию результатов. Дёппель – вы знали Дёппелей, мужа и жену, они работают с Гейзенбергом? – так он там чуть не сгорел. У них воспламенился порошок металлического урана, а Дёппель – он, говорят, вообще не в ладах с химией – пытался залить это водой, обычной водой...

– Со страху, наверное. Кстати, о тяжелой – это правда, что англичане взорвали завод в Веморке?

Розе повернул голову и уставился на него испытующе.

– А кто вам об этом говорил? У вас тут есть кто-нибудь из... ваших коллег?

– Нет, нет. Один офицер из Норвегии, не имеющий никакого отношения. Просто зашел разговор о норвежских партизанах, и он сказал, что недавно они провели вместе с английскими командос какую-то чрезвычайно дерзкую, как он выразился, операцию – причем не на побережье, а в самом сердце страны, на Хардангерском плато. Трахнули там, говорит, какой-то важнейший секретный завод. Ну, я и подумал, что Хардангер – это, скорее всего, Рjukan. А

еще точнее – Веморк. Что еще можно там найти столь важное и секретное, чтобы посылать командос?

– Да, вы угадали. В Веморке они уничтожили установки высокой концентрации, плюс весь запас готового продукта – я слышал, не менее четырехсот килограммов. Все пошло к черту. Завод сейчас спешно восстанавливают, послали туда от нас доктора Беркеи, но это не так скоро делается. В лучшем случае, вода пойдет из последней ступени только через полгода.

– Так, так... – Дорнбергер опять помолчал, чертя палкой. – На чем же Дибнер и компания думают теперь запускать свои реакторы – на чистом нордическом энтузиазме?

– В значительной степени. Но и без тяжелой воды не обойтись, поэтому ваш друг Хартек вместе с Эзау отправились в Италию выяснять тамошние производственные возможности. В Мерано есть небольшой гидроэлектролизный завод, но производительность ничтожная – несколько десятков кило в месяц.

– А почему, собственно, не обойтись... Если предположить, что Боте тогда допустил ошибку при измерениях длины диффузии в графите, – Дорнбергер пожал плечами. – Я, впрочем, не в курсе. Два года назад я уже торчал во Франции и, признаться, не очень интересовался... Если, скажем, графит был загрязнен микропримесями, это вполне могло изменить ядерные константы. Вы не допускаете такой возможности?

– Ну, вряд ли Боте не принял этого в расчет.

– Он мог принять, но графит все же мог быть загрязненным. И тогда это совершенно исказило результат опыта. Правда, если тот графит, каким пользовались в Гейдельберге, оказался недостаточно чистым, то более чистого на практике попросту не получить. На данном уровне химической технологии. Но суть в том, что в теории нейтроны можно замедлять не только тяжелой водой...

– Послушайте, доктор, – сказал Розе после паузы, – вы никогда не думали над возможностью вернуться в лабораторию?

Дорнбергер, не отвечая, палкой нарисовал на песке довольно точную окружность и вписал в нее квадрат. Потом, невнятно хмыкнув, изобразил внутри знак вопроса.

– Если вас интересует, допускаю ли я такую возможность, то ответ будет отрицательным. При данных обстоятельствах, я имею в виду.

– Я тоже имел в виду именно их, – кивнул Розе. – Но, может быть, мы видим их в несколько... разном свете?

– Не представляю, в каком еще свете можно увидеть происходящее в Германии. Я, дорогой Розе, не доктор Геббельс.

– Ну хорошо, позвольте уж мне, как говорится, выложить на стол все карты.

– Валяйте, валяйте. Я ведь с первой минуты понял, что вы приехали не просто так.

– Вот тут вы немного дали маху! Дело в том, что желание вас повидать возникло у меня еще до того, как мне поручили это сделать. Как только я узнал, что вы ранены и находитесь в лазарете...

– Простите, от кого?

– От вашей фрау супруги, от кого же еще!

– Ах вот что, – Дорнбергер опять издал хмыкающий звук. – Где же вам посчастливилось ее увидеть, мою... фрау супругу?

– Она сейчас в Берлине – по крайней мере, была две недели назад. И собиралась ехать к вам, у нее какое-то неотложное дело. Вы уже виделись?

– Нет. Однако продолжайте, вы начинаете меня интриговать. Кто «поручил» вам говорить со мной?

– Имена пока несущественны. Мы знакомы уже десяток лет, доктор Дорнбергер, и я не принял бы этого поручения, будь у меня хоть малейшее сомнение в том, что наши взгляды полностью совпадают. Скажите, вас ничто не удивило в том факте, что именно вы – в данном

случае простой капитан вермахта – оказались в одном из последних списков на эвакуацию из «котла»?

– Еще бы, черт побери! И единственное объяснение, которое могло прийти мне в голову, это моя фамилия. Возможно, болваны приняли меня за родственника того бригаденфюрера, что развлекается фейерверками на Узедоме.

– Не заблуждайтесь на сей счет, дорогой доктор. Болваны, о которых вы говорите, очень точно осведомлены – кто чей родственник. Странно, что вам не пришло в голову другое. Вы ведь работали с Хартеком в Гамбурге? Вы занимались проблемой разделения изотопов? Этим все и объясняется.

– Вот как, – Дорнбергер недоверчиво глянул на собеседника. – Вы что, всерьез это?

– Да помилуйте, сейчас несколько крупнейших лабораторий возятся с гексафторидом урана, и у них ничего не получается! Бедняга Менцель на каждой аудиенции выклянчивает у Геринга отозвать из армии всех, кого только можно подключить к этой работе.

– Ну, вот и пусть ищут... кого можно подключить. Если бы я хотел работать, мне достаточно было в свое время подписать контракт с вооруженцами, и меня до конца войны не коснулась бы никакая самая тотальная мобилизация...

Безлюдная до сих пор аллея начала оживать: подходило время обеда и больные направлялись к главному корпусу санатория. Дорнбергер достал часы, вопросительно глянул на своего гостя.

– Как вы насчет заправки? Нет? В таком случае я тоже пас. Как ни странно, с аппетитом у меня неважно... хотя в Сталинграде я думал, что если выживу, то до конца дней своих буду жрать, как Гарпагон.

Розе улыбнулся:

– Вы, конечно, имели в виду Гаргантюа...

– Кого? А, да, вероятно. Ну, словом, того самого обжору. Так у них, говорите, не ладится с разделением изотопов?

– Не так громко, пожалуйста, – Розе понизил голос, к их скамейке приближалась группа больных, и тут же заговорил другим тоном: – Фрау Рената, кстати, выглядит по обыкновению прелестно.

– А что ей сделается, – сказал Дорнбергер. – Такие всегда прелестно выглядят. Но что она торчит в Берлине – это странно. Кошки ее породы наделены особо изощренным инстинктом самосохранения.

Розе, видимо почувствовав себя неловко, пробормотал что-то и полез за платком.

– Да бросьте, Пауль, – Дорнбергер усмехнулся. – Ее вы знаете тот же десяток лет, что и меня. Так что могли, я думаю, составить некоторое представление. Ладно, хватит конспирации, мы снова в преступном одиночестве. Что, собственно, вы мне хотели сказать?

Розе, кончив полировать стеклышки пенсне, прищемил зажимом переносицу и, сняв шляпу, промокнул лоб – скамья стояла на солнце, и припекало уже совсем по-летнему.

– Послушайте, Эрих, – сказал он негромко, – я прекрасно знаю, почему вы отказались от работы в Проекте, и, в общем, разделяю ваши чувства. Хотя, может быть, посоветовал бы избрать другой путь. В конце концов, согласитесь, не все же из ваших коллег, оставшиеся в лабораториях, мечтают осчастливить вождей «тысячелетней империи» урановым оружием. Дибнер – может быть, Менцель – может быть...

– Не «может быть», а совершенно точно.

– Ну хорошо, ну ладно! Эти двое, плюс еще дюжина бездарностей из той железной когорты, что уже десять лет спасает «германскую физику» от тлетворного влияния Эйнштейна. Но ведь, согласитесь, они пороха не выдумают, а уж урановой взрывчатки и подавно, ведущая роль в исследованиях принадлежит все же людям совсем иных взглядов...

– Да плевать мне на их взгляды! – снова прервал Дорнбергер. – У вашего тезки профессора Хартека взгляды вполне правильные, я проработал с ним достаточно долго, чтобы это утверждать. При мне он наотрез отказался взять в лабораторию ассистента из коричневых, хотя это грозило неприятностями. А теперь давайте вспомним, с чего вообще начался наш проект «U». Он, дорогой Розе, начался с письма в военное министерство, которое два высокопорядочных человека – профессор Пауль Хартек и доктор Вильгельм Грот – состряпали ровно четыре года назад, в апреле тридцать девятого. Суть его была выражена в таких примерно словах: «Мы решились обратить ваше внимание на последние открытия в области физики атомного ядра, ибо считаем, что они открывают путь к созданию взрывчатого вещества принципиально нового типа и колоссальной разрушительной силы; страна, которая первой сумеет овладеть на практике достижениями ядерной физики, приобретет абсолютное военное превосходство над всеми другими» – да, да, ни больше ни меньше! Цитирую по памяти, но за смысл ручаюсь. Я тогда спросил: «Профессор, вы вообще понимаете, что делаете?» А он меня начал успокаивать – это, мол, блеф чистой воды, мы-то с вами прекрасно знаем, что до военного применения ядерной энергии дело дойдет не раньше чем лет через тридцать; нам еще вообще не ясно, как можно инициировать неуправляемую цепную реакцию и возможна ли теоретически управляемая, ну и так далее. Так на кой же черт, говорю, вам тогда связываться с военными? Он мне ответил контрвопросом – представляю ли я себе возможную стоимость исследований в этой области и кто, кроме военных, сможет нас финансировать – особенно если начнется война?

– Ну, в этих рассуждениях была своя логика, – сказал Розе.

– Логика была, согласен, – кивнул Дорнбергер. – Не было другого: чувства ответственности. Впрочем, не было и простого умения предвидеть! Хартек тогда считал, что практическое применение станет возможным лет через тридцать – потому, дескать, что даже теории еще нет; этот разговор, напоминая, имел место весной, а уже в конце того же года Гейзенберг рассчитал стабилизацию цепной реакции и доказал возможность построить работоспособный урановый реактор. Если он до сих пор еще не построен, то это лишь потому, что нет тяжелой воды, а устранять резонансное поглощение нейтронов при помощи менее дефицитного замедлителя мы пока не умеем. Пока! И сам же Хартек мечется теперь как угорелый кот – ищет, с чем бы еще таким перемешать этот чертов уран, чтобы реакция наконец пошла... Мне в моей жизни, Розе, мало чем можно гордиться, но одним я горжусь – тем, что не подписал тогда этого письма. Он предложил мне и Гроту, тот согласился. И еще горжусь тем, что осенью того же тридцать девятого года вообще бросил к черту науку и надел мундир. Да, да, не смотрите на меня такими глазами!

Он помолчал, потом спросил с подозрением:

– Вас это что, специально послали уговорить меня вернуться к исследовательской работе?

– Не совсем так. Дело в том, что вам это все равно предложат в управлении офицерского резерва. Но именно предложат, а не прикажут, так что выбор будет за вами. Мне поручено попытаться убедить вас не отказываться.

– Черт возьми, почему именно меня?

Розе добродушно рассмеялся, обмахиваясь шляпой.

– Давайте-ка перебазировемся в не столь людное место... сюда опять кто-то идет.

Они поднялись и медленно пошли по аллее.

– Почему именно вас? – переспросил Розе. – Да потому что именно вы и есть самый подходящий человек. В том, что вы только что говорили о наших ученых мужах, много справедливого. Это действительно люди, в чем-то начисто лишенные чувства реальности... Хартек человек несомненно честный, но письмо он написал, а сейчас действительно ушел в работу с головой, проблема его захватила, и он уже не способен думать о моральной стороне дела. Лишь бы получилось! Вот, скажем, поставил эксперимент с сухим льдом – неудачно. А если бы

вышло удачно? Цэ-о-два – это вам не дейтерий-два-о, этого добра навалом даже у нас. Значит, реактор мог бы и впрямь заработать... со всеми вытекающими отсюда последствиями. О них – об этих возможных последствиях – профессор Хартек уже не думает. Так же, как не думал профессор Гейзенберг, когда решил проблему стабилизации. Вы когда об этом упомянули, я сразу вспомнил, что мне рассказывал доктор Багге – он в тот день был в Лейпциге. Иду, говорит, по коридору, вдруг Вернер выскакивает из своего кабинета весь перемазанный мелом и буквально сияющий от счастья, хватает меня за рукав, затаскивает к себе и вопит, показывая на доску: «Смотрите, я наконец это сделал!!» Экая, подумаешь, радость...

– А я вам о чем толкую? – буркнул Дорнбергер. – Свернем сюда, здесь хорошее место... прячусь тут от своих целителей и врачей. Это самое я и имел в виду и поэтому-то и ушел – чтобы самому не превратиться в такого же безответственного маньяка...

– Я понимаю, ваше отличие от других в том и состоит, что вы человек абсолютно трезвый. Перебирая мысленно знакомых мне ваших коллег, я просто не нахожу ни одного, к кому можно было бы обратиться с таким предложением...

– Польщен и еще больше заинтригован. Сядем здесь, Пауль, тут нас ни одна собака не подслушает. Итак, кому и для чего понадобилось вернуть меня в урановый проект?

– Это понадобилось людям, которые хотят спасти Германию.

– Любопытно. Спасти Германию – ни больше ни меньше. А от чего, кстати, они хотят ее спасти?

– По-моему, это понятно.

– Мне – нет. От чего можно сегодня пытаться спасти Германию? От военного поражения? Бесплезно, война уже проиграна. Или от национал-социализма? А вот об этом, дорогой Розе, нам следовало подумать лет десять назад. Или даже не десять, а двадцать – когда эти чумные крысы впервые выползли в Мюнхене из своей клоаки. Вот когда надо было спасать от них Германию!

– Согласен, – терпеливо сказал Розе. – Но исправлять ошибки никогда не поздно.

– Вы думаете? Есть на сей счет и другая теория, однако вернемся к практике. Предположим, я соглашаюсь. Что это даст вашим... спасителям Германии?

– Ну... чем больше честных людей будет участвовать в Проекте, тем лучше.

– Мы только что согласились на том, что честных людей там хватает.

– Я имею в виду – честных и способных к действию. Просто «не любить» нацистов не такая большая заслуга, куда труднее предпринять что-то для того, чтобы помешать им окончательно погубить страну. Вы считаете – поздно, а мне кажется, сейчас-то и наступает самое благоприятное время. Сталинградская катастрофа открыла глаза даже тем, кто еще год назад молился на фюрера. Кстати, именно в том же самом Мюнхене – самом «коричневом» городе Германии – недавно имели место беспорядки в университете, студенты разбросали листовки с открытым призывом к сопротивлению. Но надо быть реалистом, Эрих, легкой победы здесь быть не может, это борьба не на жизнь, а на смерть. Борьба, в которой допустимы все средства. Вы согласны – в принципе?

Дорнбергер пожал плечами.

– Не знаю, – сказал он наконец. – «Все» – это уж, пожалуй, слишком... Уточните, какое средство вы имеете в виду в данном случае. Применительно к урановому проекту.

– Хорошо, я уточню. Люди, о которых мы говорим, наладили контакт с дипломатическими представителями союзников в Швейцарии; сейчас очень важно, чтобы там знали о существовании у нас активной оппозиции режиму, особенно в военных и промышленных кругах. Но вы сами понимаете, насколько сложны подобные переговоры... и с каким недоверием партнеры принимают друг к другу. Особенно, конечно, недоверчива та сторона; хотя бы потому, что она менее заинтересована. Это ведь мы, немцы, лихорадочно пытаемся спастись... а для них победа – лишь вопрос времени. Поэтому нам приходится подкреплять слова чем-то

конкретным... В частности, Эрих, наших партнеров явно интересуется положение дел в германском урановом проекте. Если бы мы могли хотя бы время от времени снабжать их достоверной информацией...

– Я понимаю, – сказал Дорнбергер. – Только мне все-таки не ясно, при чем тут я. Вы с ними в контакте? Вот и снабжайте, если находите это правильным.

– Помилуйте, я не имею никакого отношения к Проекту, меня туда на пушечный выстрел не подпустят, да и вообще я не физик! По образованию – да, но я никогда не занимался научной работой, я всю жизнь редактор, моих знаний хватает лишь на то, чтобы разбираться в материалах, которые мне приносят!

– Ну, ну, не прибедняйтесь, разбываетесь вы в них совсем неплохо. И вы только что с большим знанием дела информировали меня, где что происходит и кто чем занимается. Я, например, не знал, что ставились опыты с сухим льдом. А вы это знаете. Вот и в добрый час!

– Да что там я знаю? Какие-то обрывки сплетен! Только лишь потому, что кое-кто из коллег еще собирается по субботам у меня дома...

– Вот и прекрасно! Подпайвайте их не скупясь, виски пусть присылают из Женевы, и слушайте повнимательнее. Вас, кстати, еще не разбомбили?

– Что? – Розе запнулся и глянул на него непонимающе. – А, нет. Покамест бог миловал. У нас в Тельтове упало, правда, несколько тяжелых бомб, я также видел разрушенные дома в Целендорфе и в Далеме – у самого института. Но в целом, можно сказать, юго-запад еще сравнительно благополучен. Фрау Рената сказала мне, что ездила в Груневальд взять кое-какие вещи, и там тоже все пока цело...

– Она разве не дома живет?

– Насколько я понял, нет. У какой-то подружки в Бабельсберге, поближе к студии, надо полагать. Эрих, послушайте. Я не жду ответа сейчас, но решить вам надо. Хартек помнит вашу работу по разделению изотопов ксенона – с ним говорили, он охотно возьмет вас в свою группу...

– Я в его группу не пойду, и не надо меня уговаривать, это бесполезно.

– Почему, Эрих? Почему? Ведь я только что объяснил вам, насколько это важно!

– Да вы что, Розе, – тихо сказал Дорнбергер, – вы и в самом деле ничего до сих пор не поняли? Ладно бы они – вся эта обезумевшая орава – ведь эти проклятые фанатики «научного поиска» вообще уже не соображают, что делают, для них не существует больше ни моральной стороны дела, ни политической, ничего кроме самой проблемы в чистом виде, будь она проклята. Но вы-то, черт побери! Вы-то должны понимать, какое чудовище мы не сегодня-завтра пустим на волю из своих лабораторий! Да не именно мы, немцы, мы уже ни черта не успеем – и слава богу, хоть в этом не будет нашей вины, – но ведь это все равно сделают другие – рано или поздно сделают, если не Чедвик, то Капица, если не Капица, то Ферми – не все ли равно кто! Оглянитесь вокруг, редактор Розе, раскройте глаза, посмотрите – во что превратилось человечество! И это ему вы хотите дать в руки энергию ядерного распада?

– Да, да, я понимаю ваши опасения, – терпеливо сказал Розе. – Но, Эрих, новый источник энергии всегда пугает современников. То, что вы говорите сейчас, в свое время говорилось и по поводу электричества, и даже по поводу пара...

– Да при чем тут пар и электричество, черт побери! Я все же не неграмотный монах, усмотревший дьявола в тележке Дени Папена! Логичнее вспомнить Бертольда Шварца, если уж вам нужны исторические аналогии; уран прежде всего станет орудием смерти, и только после этого – может быть! – мы научимся использовать его как источник энергии. Говорю «может быть», потому что вовсе не уверен, что человечество до этого доживет. Поэтому я и не намерен работать ни с Хартеком, ни с кем другим из этой обезумевшей оравы. Да, Гитлеру они урановую бомбу не подарят, просто не успеют, – но что из того? Представьте себе, что успели англичане или американцы. Попробуйте! Или слишком страшно? Вот то-то и оно. Если Черчилль

не задумываясь посылает на тыловые города по тысяче тяжелых бомбардировщиков – какие соображения помешают ему применить потом урановую взрывчатку? Мораль? Гуманность? Ха! Поезжайте в Кельн – там увидите, что такое «гуманность» в английском понимании...

– Ковентри тоже был тыловым городом, Эрих.

– Ну, знаете, это логика каннибальская: соседнее племя сожрало двоих наших, так мы теперь сожрем у них сотню! Словом, договоримся: если вы считаете нужным свести меня с этими вашими «спасителями Германии», я готов встретиться и побеседовать. Но как на шпиона пусть на меня не рассчитывают, это вы им скажите сразу...

Глава 2

Жизнь Людмилы Земцевой переломилась страшно и непоправимо в августе сорок первого года. Именно в августе, не в июне. Сам факт начала войны не столько испугал, сколько ошеломил вчерашних школьников, накануне отпраздновавших свои аттестаты; о том, как развернутся события ближайших месяцев, они не только не догадывались – они и вообразить себе не могли ничего подобного. Людмила потом часто вспоминала, как вечером двадцать второго к ней прибежал Володя Глушко – принялся доказывать, что уж завтра-то в Германии начнется; немецкий пролетариат, сказал он, просто не может теперь не обернуть оружие против Гитлера и его преступной клики...

Город, где прошло их детство, – старый, зимою снежный, а летом весь в зеленой шумящей тени акаций и каштанов, не очень крупный областной город на Правобережной Украине – уже через месяц оказался под непосредственной угрозой. В конце июля комсомольцев допризывного возраста мобилизовали на оборонные работы. Людмила и почти все ее бывшие одноклассники отправились копать противотанковые рвы – на всякий случай, как объяснили в райкоме.

Случай этот представился двумя неделями позже: танковый корпус Кемпфа, нанося удар в направлении Кривой Рог – Запорожье, прорвал нашу оборону под Куприяновкой. Войска 26-й армии начали отходить к Днепру, и вместе с ними, мешаясь с обозами, артиллерией и пехотными колоннами, потянулись по занавешенным черной пылью шляхам бесконечные толпы беженцев. Какой уж тут противотанковый ров!

Вернувшись домой, Людмила застала мать укладывающей чемоданчик. «Как хорошо, что ты успела, – сказала Галина Николаевна, – а я уже написала тебе письмо. Дело в том, что эти умники решили вдруг эвакуировать лабораторию – мы целую неделю демонтировали установки, вчера наконец отправили оба вагона. Я лечу сегодня ночью – там ведь надо все подготовить заранее, пока эшелон будет в пути...»

Людмила ничего не поняла сразу, до нее как-то не дошло, она стала расспрашивать. Оказалось, что эвакуируется не только лаборатория доктора Земцевой, эвакуируется весь Институт токов высокой частоты, и не куда-нибудь, а в Среднюю Азию. Впрочем, самолетом сегодня вылетают лишь несколько ведущих сотрудников, чья работа связана с оборонными темами. Их семьи, а также все остальные работники института должны ехать следующим эшелоном – об этом позаботится замдиректора. Все это Галина Николаевна разъяснила дочери спокойно и терпеливо, как положено разговаривать с детьми; при этом она рылась в книжном шкафу, отбирая то, что необходимо было взять с собой. Она заставила Людмилу еще раз записать телефон зама, повторив, что тот все устроит и все организует и беспокоиться решительно не о чем – скорее всего, добавила она, эта нелепая эвакуация вообще не более чем проявление перестраховки. Людмила вспомнила увиденное за этот день и подумала, что мысль о «перестраховке» никому, кроме мамы, пожалуй, и на ум не могла бы прийти.

Через полчаса – Галина Николаевна едва успела объяснить дочери, где что лежит, и еще раз наказать ей не распускаться и держать себя в руках (что особенно необходимо в такое трудное время) – на улице знакомо просигналил институтский «газик», и Людмила осталась одна. Той памятной для нее ночью город бомбили – впервые с начала войны. И на следующий день тоже, еще сильнее. Бомбили свирепо и прицельно, с пикировщиков, особенно пострадали вокзал и сортировочная станция, так что ни о каких эшелонах теперь не могло быть и речи. К тому же Людмила узнала от одной маминой сотрудницы, что замдиректора, которому было поручено «все организовать», после второй бомбежки бежал за Днепр, нагрузив своей мебелью последнюю институтскую полуторку. Через неделю пришли немцы.

Вместе со школьной подругой, переселившейся к ней из разбомбленного дома в центре, они прожили до холодов – вернее, не прожили, а просуществовали, потому что это уже не было жизнью в привычном для них понимании. Они никуда не выходили, ни с кем не общались, читали старые романы из огромной земцевской библиотеки и старались не думать о том, что будет, когда кончатся запасенные Галиной Николаевной (как ни странно!) мука и картофель. Особнячок, построенный еще Людмилиным дедом, стоял в запущенном саду на зеленой и тихой улочке, здесь была уже почти окраина города и немцы появлялись редко. У Земцевых останавливались переночевать всего два раза – солдаты, к счастью, попались в обоих случаях немолодые и смирные. Они мылись в саду у водопроводного крана, гремели котелками на кухне и укладывались спать, попиливав на губных гармошках.

Так что ничего страшного вроде и не происходило, но все равно – это уже была не жизнь, а нечто бредовое и нереальное. Людмила и ее подруга принадлежали к поколению, не умеющему сомневаться; они слепо верили всему, во что им предложено было верить, а слепая вера боится резких ударов. Вера их сверстников, остававшихся по нашу сторону фронта, не подвергалась столь жестокому испытанию на прочность; испытания, выпавшие на их долю, были совсем иного рода. А для молодежи, попавшей в оккупацию в первые же месяцы войны, слишком внезапно рухнуло многое из казавшегося незыблемым, вечным, как небо и земля...

В октябре кончились продукты, а тут еще явился однажды полицай из местных – спросил, почему девушки не зарегистрировались до сих пор на бирже труда, и пригрозил суровой карой за уклонение от общественно полезной деятельности. Пришлось идти регистрироваться. Тане повезло – ее отправили на уборку развалин в центре, а Людмила имела неосторожность показать при начальнице хорошее знание немецкого. Ей тут же предложили стать переводчицей, она отказалась, и обозленная отказом начальница проштемпелевала ее «кеннкарту» жирной буквой “R” – это означало работу на территории рейха. В Германию ее отправили первым же эшеленом.

Она находилась тогда в состоянии какого-то душевного околечения. Мир вокруг нее продолжал рушиться, не оставалось даже соломинки, чтобы ухватиться; единственным, пожалуй, во что она еще не потеряла веру, была привязанность к ней оставшейся дома Тани, они дружили давно, и это – хоть это! – уцелело, но все равно их разлучили. А все остальное было кошмаром, немцы взяли Киев и овладели Украиной до самого Донбасса, стояли у ворот Москвы, Ленинграда; кошмаром были пересыльные лагеря, унижительные медосмотры, ругань охранников и надзирательниц. Даже воспоминания о доме были мучительны. Людмила осуждала мать не за то, что та уехала: она понимала, что не эвакуироваться Галина Николаевна не могла. Но хоть бы заплакала тогда, прощаясь, хоть так проявила бы страх за судьбу дочери, оставляемой в прифронтовом уже городе! Нет, ее и тогда больше беспокоило – не забыть бы нужный справочник...

Чуть просветлело, когда в одном из лагерей девушки узнали о начале нашего контрнаступления под Москвой. Забрехала робкая надежда – а вдруг что-то переменится еще в лучшую сторону... Впрочем, для них – полонянок, угнанных в неволю точно так же, как триста лет назад угоняли их соотечественниц на невольничьи рынки Кафы и Карасубазара, – для них пока мало что могло измениться. Группа Людмилиных землячек редела: часть отобрали в Оппельне, часть – в Бреслау, остальных повезли дальше. Хмурым январским деньком поезд остановился на большой товарной станции с множеством забитых составами путей, девушкам велели выходить, построили в колонну. «Ты не видела, что за город?» – спросила Людмила у Наталки Демченко. «Да Дрезден якись, хай ему», – ответила та.

Их долго вели по улице унылого фабричного предместья, с серого неба сыпался снежок пополам с дождем, ноги промокли. Людмила пыталась вспомнить все, что знала о Дрездене, но вспомнилось не много – знаменитая картинная галерея, одна из лучших в Европе, король Август Саксонский... Еще река Эльба. «Но спят усачи гренадеры в долине, где Эльба

шумит...» «Под снегом холодным России» – это понятно, а почему в долине Эльбы? Разве Наполеон и здесь побывал? А впрочем, конечно. По всей Европе, и даже «под знойным песком пирамид». Совсем как эти. Неужели у этих может кончиться иначе?

Девушек привели в помещение со стеклянным потолком, вроде пустого цеха. К счастью, здесь было относительно тепло. Выдали бумажные тюфяки с соломенной трухой, велели идти в баню, вещи сдать на санобработку, процедура была уже привычной. Вечером дали по миске брюквенного супа с кусочком хлеба в ладонь. Утром, в этом же зале – после того, как тюфяки были убраны и пол тщательно подметен, – состоялся очередной «аукцион».

Людмила, впрочем, не знала, действительно ли это было аукционом и покупали ли немцы своих рабынь, или те распределялись как-то иначе. Может быть, по ордерам? За столом с бумагами сидел обычно чиновник, с ним и имели дело покупатели – после того как отобрали себе нужный «товар», оптом или в розницу. Иногда брали целыми группами, иногда поодиночке. Это тоже было уже привычным делом; Людмила только всякий раз удивлялась, как это они еще не додумались выставить рабынь нагишом.

Ею самой никто не прельстился и на этот раз. «Аукцион» закончился и чиновник за столом уже собирал бумаги, когда переводчица подошла к нему и, говоря что-то, указала на Людмилу – та сразу заметила это, ей стало не по себе. Чиновник тоже посмотрел, поманил пальцем.

– Скажи-ка, – спросил он, когда она подошла к столу, – у тебя тут на карточке помечено «хорошо владеет немецким» – ты случайно не из фольксдойче?

– Нет, разумеется, – сказала Людмила, – меня бы тогда не забрали.

– Но ты действительно владеешь языком?

– Как слышите. «Хорошо» – это преувеличение.

– Могу предложить место переводчицы, – сказал чиновник, продолжая складывать бумаги в портфель. – В лагере при небольшом промышленном предприятии, там тоже работают девушки с Украины.

– Мне уже предлагали место переводчицы, но эта работа мне не по душе.

– Скажи на милость. Ладно, дело твое, не хочешь – не надо. Одевайся и возьми свои вещи, пойдешь со мной...

Людмила попрощалась с девушками, взяла свой чемоданчик и натянула пальто, севшее от многократного прожаривания в дезкамерах. Вдобавок оно еще выглядело жеваным и омерзительно пахло какой-то химией – чиновник, когда они вышли на улицу, явно старался держаться от нее подальше. В трамвае он знаком велел ей остаться на площадке, а сам прошел в полупустой вагон и сел там, взяв у кондукторши билеты и пальцем указав через плечо – для той, мол, вон оно торчит, восточное чучело... Людмиле было немного страшно, кто знает, куда ее теперь отвезут? Может быть, стоило согласиться... Все-таки была бы среди своих, а с другой стороны – если работать переводчицей здесь, то чего же ради она отказалась от этого там, дома...

Трамвай привез их в другой район города – здесь были высокие красивые дома старинной постройки, много деревьев. На одной из остановок чиновник вышел на площадку, свистнул Людмиле, как собачонке, и дал знак следовать за ним. Они вошли в подъезд мрачного серого дома – здесь помещалось какое-то учреждение, чиновник вел Людмилу коридорами, мимо дверей, за которыми стрекотали пишущие машинки, слышались телефонные звонки и голоса. Потом она ждала одна в коридоре, чиновник ушел и велел ей не отлучаться. За высокими окнами уже смеркалось, когда он наконец вернулся и снова поманил ее за собой.

Высокий худощавый старик в роговых очках поднялся со стула, опираясь на трость, когда Людмила вошла в комнату вместе со своим конвоиром.

– Ну, вот это она и есть, эта особа, – сказал чиновник и подтолкнул ее вперед – Не знаю, что и посоветовать, господин профессор, решайте сами. Если надумаете взять, зайдете потом ко мне, и мы все оформим.

С этими словами он скрылся за дверью. Людмила стояла, оцепенев от внезапно нахлынувшего страха; старик церемонно указал ей на стул.

– Садитесь, пожалуйста. Рад познакомиться, фрейлейн... – он справился по бумажке, которую держал в руке, – фрейлейн Зем-цоф – я правильно произнес? Меня зовут Иоахим Штольниц, и я имею сделать вам некоторое предложение. Вы хорошо понимаете меня, фрейлейн?

– Да, я хорошо вас понимаю, – Людмила кивнула, глядя на немца настороженно. Он говорил очень ясно, не спеша, с четкой артикуляцией.

– Сядьте же, прошу вас, нам надо поговорить, – немец повторил свой приглашающий жест. Когда Людмила опустилась на стул, он тоже сел, сложив пальцы на набалдашнике трости.

– Фрейлейн, я хотел бы предложить вам работу в моем доме, в качестве – ну, помощницы, назовем это так. Нас двое, жена тоже немолода, ей уже трудно. Разумеется, мы не хотели бы принимать помощь от человека подневольного, поэтому обдумайте сами. Если вы предпочитаете работать в другом месте... скажем, на заводе или в крестьянском хозяйстве, вы вольны отказаться. Но я обещаю вам, что у нас вы будете как член семьи. Работы не так много – ну, я не знаю, прибрать, сходить за покупками, постирать – впрочем, у нас есть эта, знаете, – он покрутил пальцем, будто что-то размешивая, – такая машина. А готовит жена сама, этого она никому не доверит. Хотя что сейчас можно готовить? Да, если вас интересует, кто я такой, то могу сказать: я преподаватель, вернее бывший, читал курс истории искусств, специальность – итальянское Возрождение. Ну, и у меня есть еще несколько книжек на ту же тему. Вот так, фрейлейн. А о себе вы расскажете позже – если захотите. И если, конечно, вообще согласитесь принять мое предложение...

Людмила понимала каждое слово, но общий смысл все еще как-то не доходил до ее сознания, может быть просто потому, что у нее кружилась голова от голода и усталости. Утром им выдали по кружке ужасного суррогатного кофе и по куску хлеба с маргарином, и это было все; после «аукциона», вероятно, оставшихся должны были накормить обедом, но забравший ее чиновник об этом и не подумал. Она все-таки постаралась сосредоточиться – немцу, вероятно, надо дать ответ? Она не знала, что о нем и думать, выглядел он приличным человеком и говорил с ней, казалось бы, искренне, но... Мало ли кем он может оказаться? Все-таки немец. Но тут же ей вспомнился врач в одном из лагерей – на медосмотре он отозвал ее и, делая вид, будто занимается обмерами головы, сказал о провале немецкого наступления на Москву. Он ведь тоже был немец, и даже довольно молодой, но явно из антифашистов. Он еще сказал ей тогда: «В Германии есть люди, которые вам помогут...»

У меня нет оснований верить этому старику, подумала она, но нет оснований и не верить, в таких случаях, наверное, лучше избирать доверие. В конце концов, рискует она только собой. А жить, никому не доверяя, вообще не стоит...

– Вы хорошо меня понимаете? – опять спросил немец и добавил, словно прочитав ее мысли, еще один вопрос: – Вы вообще верите в мою искренность?

– Да, господин профессор, – ответила она. – Хорошо, я согласна работать у вас в доме...

Профессор Штольниц не обманул ее доверия. За полтора года, прожитых в этой семье, она и в самом деле стала чувствовать себя почти родственницей. Фрау Ильзе, правда, казалась ей слишком уж расчетливой и экономной; Людмила признавала, что основания к этому у фрау были: Штольницы жили очень небогато, почти бедно, хотя и в просторной квартире, обставленной старой дорогой мебелью. Все это было остатками прежнего благополучия, сейчас профессор не преподавал и книги его не переиздавались, так что было даже не совсем понятно, на

какие средства они вообще существуют. Но все-таки – охать и всплескивать руками по поводу толщины картофельных очисток! Если не считать этого, фрау Ильзе была женщина добрая, хотя и недалекая. Людмила относилась к ней покровительственно.

О сыне, служившем в Африканском корпусе, фрау Ильзе говорила часто и с умилением, профессор же – никогда; можно было предположить, что отец с сыном не очень-то ладят. На фотографиях Эгон выглядел красивым, но несимпатичным – этакая надменная «белокурая бестия». Людмила побаивалась его приезда. Ему должны были дать отпуск еще прошлой осенью, но англичане остановили Роммеля под Эль-Аламейном и сами перешли в наступление; отпуска тогда были отменены, и Эгон приехал только весной. Оба предположения подтвердились: и то, что не ладит с отцом, и то, что бестия. В последний день они с профессором совсем перессорились – Людмила случайно услышала часть разговора – речь шла о безнадежном положении на фронтах, и профессор сказал, что «нордическая верность» тех, кто продолжает слепо исполнять приказы, теперь уже оборачивается соучастием в преступлении...

Эгон вернулся в свою часть в начале апреля, а десятого мая на мысе Бон была подписана капитуляция войск Оси в Северной Африке; с тех пор о нем не было ни слуху ни духу.

Что касается политических симпатий профессора, то он с самого начала не скрывал их от Людмилы, хотя первое время и не высказывал открыто – они проявлялись скорее в поступках. В тот первый день, например, когда они вышли вместе из трудового управления, он отобрал у нее чемоданчик и понес сам. Она пыталась протестовать – ей действительно было неудобно: все-таки он (немец или не немец) был намного старше, но профессор ответил ей полушутливо-полувсерьез, что мужчина, идя с дамой, тоже не любит афишировать свой возраст. До Остра-аллее, где жили Штольницы, оказалось довольно далеко, они шли около полутора часа, хотя можно было воспользоваться трамваем. Лишь позже Людмила поняла, почему профессор предпочел пешую прогулку: иностранцам, оказывается, разрешалось ездить только на задней площадке, и Штольниц должен был бы или поступить подобно тому чиновнику – спокойно усестись внутри, оставив ее за дверью, – или же самому остаться там вместе с нею, что поставило бы в неловкое положение саму Людмилу.

Уже одним этим он сразу дал ей понять, что не разделяет официально насаждаемого в Германии презрения ко всем иностранцам и не намерен соблюдать никаких предписаний в этом смысле. То, что Людмила с первого же дня питалась вместе с «хозяевами», тоже, конечно, было особым рода демонстрацией; интересно, сажали ли они раньше за свой стол прислугу-немку. Скорее всего, нет; ведь обычная прислуга была в их глазах существом иного, так сказать, социального уровня, с нею просто не о чем было бы говорить. В Людмиле же они видели жертву временных обстоятельств.

А месяца через три профессор однажды заговорил с нею более откровенно.

– Люди порой склонны отчаиваться, – сказал он, – вспомните тот сонет Шекспира – «Зову я смерть...» – Шестидесят шестой, если мне не изменяет память. Вполне оправданное чувство, но отчаяние и мудрость несовместимы, с возрастом это начинаешь понимать... Дело в том, что зло всегда на поверхности, оно больше бросается в глаза, а к урокам прошлого мы глухи и слепы. Ведь еще не было случая, чтобы политической системе, сознательно избравшей путь зла, было дано бесчинствовать безнаказанно. Ей дозволяется лишь проявить себя на протяжении какого-то ограниченного срока, бесконечно малого в масштабах истории, а затем неминуемо приходит возмездие. И оно оказывается тем более страшным, чем страшнее были преступления, тут уж берет слово сама Справедливость...

Это было сказано настолько недвусмысленно, что Людмила даже испугалась – а вдруг провокация? Хотя, если здраво рассудить, чего бы ради профессору ее провоцировать, да и не похож он на провокатора...

Скоро ее опасения окончательно рассеялись. Штольниц, вероятно, не был активным антифашистом, и его оппозиционность проявлялась лишь в разговорах да еще в том, что он

постоянно слушал Лондон – каждый вечер из его кабинета доносился приглушенный тяжелыми портьерами бой позывных – бум-бум-бум-бум; слыша это, фрау Ильзе бросала на Людмилу многозначительный взгляд, словно призывая ее разделить негодование, и скорбно поджимала губы (за слушание вражеских передач можно было угодить в концлагерь). Но так или иначе, к нацистскому режиму профессор испытывал несомненное отвращение.

Однажды, не утерпев, Людмила решила вызвать его на большую откровенность. Он часто расспрашивал ее о жизни в Советском Союзе, интересовался любой мелочью, школами, системой образования. Воспользовавшись одним из таких разговоров, она как бы вскользь заметила, что в начале войны все ждали восстания немецкого пролетариата. Услышав это, профессор рассмеялся.

– Что ты, дочь моя! Восстание – у нас? Мы для этого слишком законопослушны. С немцем можно делать что угодно, если ты облечен властью. Перед властью – любой властью, заметь, даже перед ее атрибутами! – немец испытывает некий священный трепет. В этом наша всегдашняя трагедия – мы всегда послушны, всегда повинемся слепо и беспрекословно – приказ есть приказ! – без тени сомнения, без малейшего протеста хотя бы где-то в душе, про себя, втайне...

– Я понимаю, – сказала Людмила. – Но так можно повиноваться, если власть – старая; ну, привычная, понимаете? Кайзер, например, в ту войну – естественно, его все слушались. Но Гитлер... он ведь не сразу стал привычной властью, я хочу сказать – был какой-то момент, когда и атрибутов у него не было...

– Да-да, – профессор закивал. – Я понял твою мысль! Ты хочешь спросить – как могло случиться, что его допустили к власти? О! – он поднял палец. – Вопрос весьма существенный. Как говорится – *in media res*. Кто только себе его не задавал, дочь моя, но ответить на него не так просто. Видишь ли, юридически Гитлер – не узурпатор; как это ни печально признавать, канцлером он стал вполне законно, опираясь на результаты выборов. Таким образом, в глазах любого немца он сразу стал носителем законной власти, полученной им от Гинденбурга. Это первое. Второе: ему удалось очень быстро покончить с безработицей. Тот очевидный с самого начала факт, что безработица ликвидировалась путем тотальной милитаризации нашей экономики, никого не интересовал. О будущей – и уже становившейся неизбежной! – войне никто тогда не думал, все были рады тому, что не надо больше ходить штемпелеваться на бирже труда. Понимаешь? Это что касается рабочих, то есть большинства нации. Ну, а люди образованные... – профессор пожал плечами, усмехнулся. – Мы, должен тебе признаться, долгое время просто не принимали его всерьез. Спихнулись, когда было поздно. А многие и тогда продолжали сохранять олимпийское спокойствие... делали вид, что происходящее их не касается. Я помню один разговор... Есть у меня знакомый физик – молодой еще человек, сын моего фронтового товарища. Мы вместе были на Западном фронте – в ту войну, естественно! – он там погиб, и я потом принимал участие в судьбе его сына. Умный парень и, говорят, даже талантливый в своей области. Так вот, когда наци нас оседлали – а он незадолго перед тем окончил университет и женился – я, помню, навестил его в Берлине. Сидим, ужинаем, были еще какие-то гости – театральная публика, насколько помнится, жена его вечно крутилась в среде всяких режиссеров, актеров. Я спросил – как проявляет себя в столице новая власть? – и сразу почувствовал себя таким провинциалом, не умеющим себя вести за столом и не знающим, о чем можно и о чем нельзя говорить в хорошем обществе. В самом деле – тут споры о Пабсте, о Рейнгардте, а этот неотесанный саксонец вдруг во всеуслышание интересуется черт знает чем. Словом, наступило такое неловкое молчание, кто-то что-то промямлил, но саксонцы, знаешь ли, публика упрямая – и я обратился уже прямо к хозяину дома. А Эрих вообще интересов своей супруги не разделял и в этой компании держался особняком, я не уверен, что он хоть раз в жизни был в театре. Так вот, когда я его спросил, как обстоят дела в научных кругах, он мне ответил буквально следующее: «Да я, признаться, не в курсе, какое мне дело до этой корич-

невой швали». Как это тебе нравится? А ведь она, эта самая шваль, уже тогда травила Эйнштейна, начала изгонять профессоров-евреев из учебных заведений, словом, проявила себя во всей, можно сказать, своей первозданной красе. Но вот что любопытно! Меня тогда, должен откровенно признаться, ответ Эриха несколько не возмутил. Правда, сам я – как и многие мои коллеги-гуманитарии – принимал происходившее ближе к сердцу, многое нас уже начинало тревожить всерьез... но это так, скорее в абстрактном плане. А позиция Эриха мне тогда чем-то даже понравилась – этаким, понимаешь ли, гордым «Noli tangere»...

– Господин профессор, – сказала Людмила, – мы в наших средних школах древние языки не изучаем, поэтому со мной все ваши цитаты пропадают зря.

– Да, да, извини! Идиотская старая привычка – в далекие времена моей молодости самый тупой студизус обожал щеголять латинскими словечками. Снобизм чистой воды, но въелось на всю жизнь. Это я вспомнил фразу Архимеда, которую он якобы сказал римскому солдату, пришедшему его убить: «Не тронь мои чертежи»...

Разговор этот состоялся в самое трудное время – ранней осенью сорок второго года, когда только началась битва за Сталинград и уже трудно было надеяться на что-то хорошее. То, что профессор именно в такой момент счел возможным говорить с нею так откровенно и недвусмысленно, убедило ее, что Штольницу можно довериться во всем. И когда, полугодом позже, одна знакомая девушка – Зойка Мирошниченко из Бюлау – пожаловалась, что злыдни хозяева совсем ее довели и ей теперь остается одно: поджечь дом и наложить на себя руки, – она не колеблясь рассказала об этом профессору, спросив, не может ли он через свои связи в трудовом управлении устроить Зойке перевод на другое место работы. Профессор ответил, что таких связей у него больше нет, но почему бы не устроить девушке побег в Чехословакию? Людмила даже обиделась в первый момент, восприняв его слова как неуместную шутку, но оказалось, что говорил он вполне серьезно. И действительно, не прошло и месяца, как беглянку переправили в Бад-Шандау и там спрятали на барже, которая отправлялась вверх по Эльбе. Позже от Зойки пришла условная открытка с видом какого-то городка в Богемии...

То, что немец, в чьем доме Людмила работала прислугой, оказался человеком настолько порядочным, было для нее неправдоподобной удачей. Но это же и делало ее положение каким-то странным, двусмысленным. Будь он нацистом, в этом была бы определенная логика, а так – вроде бы рабыня, привезена сюда насильно, как полонянка, но ведь рабам положено ненавидеть своих господ, а за что ей ненавидеть Штольницев? Если только за то, что они – немцы, то чем тогда она отличается от любого хайота² который ненавидит ее только за то, что она – русская...

Она даже не решалась рассказывать о своей жизни знакомым девушкам из эшелона, с которыми продолжала изредка видаться. Те и без того удивлялись, что она выглядит не умученной и так хорошо одета (фрау Ильзе пожертвовала талонами на текстиль и купила ей пальто в фешенебельном магазине на Прагерштрассе – из ужасной синтетической дерюги, но зато самого модного покроя). Когда ее спрашивали о хозяевах, Людмила сдержанно говорила, что относятся неплохо, грех жаловаться. Да ей просто не поверили бы, скажи она кому-нибудь, что у нее своя отдельная комната, что обедает она вместе со Штольницами и свободно пользуется профессорской роскошной библиотекой...

Почти все, попавшие подобно ей в прислуги, жаловались на тяжелый труд, скверные условия, грубость хозяев. Положение тех, кого распределили по заводам, было еще тяжелее; Людмила время от времени посещала некоторые рабочие лагеря, по воскресеньям (если лагерь не находился на территории завода) туда иногда пускали посетителей. Где-то было чуть получше, где-то – похуже. Всюду действовали одни и те же правила, но кое-что зависело и от местных властей – в частности, от переводчиков. Эти в большинстве своем были из «фольксдойчей» с Украины и всячески старались выслужиться, делом оправдать свою новообретенную принад-

² Сокр. от «Hitler Junge» (нем.) – член организации «Гитлеровская молодежь».

лежность к расе господ, но попадались и среди них порядочные люди, пытавшиеся в меру возможностей облегчить для полонянок условия лагерного быта. Что же касается условий труда, то они были, судя по рассказам, одинаково тяжелы на всех дрезденских предприятиях. В этом смысле «Заксенверк» или «Эрнеманн» мало чем отличались от «Униферзелле», от «Хилле АГ», от фабрик парашютного шелка в Пирне или шинного корда в Хейденау: рабочий день продолжался десять часов, мастера постоянно подгоняли, едва замешкаешься, чуть ли не палкой. Плохой была техника безопасности, многие девушки уже покалечились, одна даже потеряла пальцы (правда, ее – нет худа без добра! – отправили, кажется, домой).

Слушая обо всем этом, Людмила не могла не испытывать чувства невольной вины – как будто она сама, каким-то неблагоприятным путем, оттягала у судьбы выигрышный билет...

Глава 3

«Эссен, 16 мая 1943

Dear Эрик,

перед отъездом из Б. я опять встретила на Кудам вообрази кого этого милого толстого г-на Розе и он сказал что ты прекрасно выглядишь и почти совсем не хромаешь. Но не беда даже если бы и хромал т.к. я считаю что легкая хромота идет мужчине как и шрамы. В общем у меня с души свалилась такая тяжесть я ведь хотела побывать у тебя но ты не представляешь что у нас тут делается кто же меня пустит. А в Э. я приехала по просьбе Клары Н. из сценарного отд. тут у нее тетка или что-то в этом роде и надо было отвезти пса он там в Б. нервничал из-за сирен совсем облысел. Эрик my dear! Г-н Розе сказал что тебя скоро выпишут и тогда ты получишь отпуск поэтому приезжай обязательно сюда у меня крайне важный вопрос. Здесь много места огромный дом никаких беженцев напротив бегут все кто может. Конечно понятно з-ды Кр. и т.п. вообще масса всего такого. Дура нашла куда отправить своего Шнукки впрочем тетка намерена уехать с ним в деревню если и тут пойдут дожди. Пока спокойно. Не выброси конверт на нем адрес: р-н Штадтгартен это от вокзала (Эссен-Гл.) под мост сразу налево. Тебе всякий покажет здесь недалеко итальянское консульство. Darling хотя ты меня никогда не понимал мне иногда так тебя не хватает. Жду!

Вся-вся твоя – Рената Дорн».

Он получил это послание накануне выписки, когда уже был заказан билет до Берлина; пришлось опять звонить в Эрфурт в железнодорожные кассы, но сделать ничего не удалось, кассирша свирепо облаяла его и заявила, что знать ничего не знает, заказ принят и зарегистрирован и порядок есть порядок. Поэтому на следующий день он уехал берлинским поездом, рассчитывая на пересадку в Магдебурге.

Пересадка оказалась тоже не таким простым делом, как было когда-то. Вообще Германия вся стала за это время какой-то не такой. Доктор Дорнбергер не был в стране уже три с половиной года – если не считать двух коротких отпусков, один из которых он провел у дальних родственников в Нижнерейнской области, у самой границы с Голландией. Перемены на железной дороге особенно бросались в глаза – расписания превратились в фикцию, вместо изысканно вежливых довоенных проводников по вагонам метались бестолковые злобные мегеры, явно видящие в каждом пассажире личного врага. Когда Дорнбергер, предъявляя билет, спросил проводницу, не сможет ли она подсказать ему какой-нибудь наиболее согласованный по времени поезд из Магдебурга на Рур, та прямо задохнулась от ярости. «Глаза у вас есть? – взвизгнула она. – Читать умеете? Вот сами и увидите!» Уже перейдя к двери соседнего купе, она выразила вслух свое мнение о разных бездельниках, которые едут до Берлина, а интересуются поездами в Рур. «Это вообще надо бы еще проверить, что за птица», – добавила она многозначительно. Капитан собрался было прикрикнуть на нее строевым голосом, но вовремя сообразил, что такую не перекричишь.

Огромное здание магдебургского вокзала было наполовину разрушено, двери в зал ожидания зашиты свежим тесом, а кассы размещались в собранном прямо на перроне новеньком щитовом бараке. Барак осаждала толпа военных, в которой преобладали пиратские бороды и белые шелковые шарфы подводников; здесь, видимо, пересаживались многие едущие из Киля и Бремерхафена. Дорнбергер потоптался рядом, даже не пробуя померяться силой с отъевшимися на спецпайке «волками Атлантики», и поковылял к щиту с расписанием. Он долго искал подходящий поезд, наконец нашел – через Хальберштадт, Гослар и Падерборн – и только тогда увидел наклеенное внизу щита объявление: «Расписание недействительно, о времени прибы-

тия и отправления поездов справляться у дежурного по вокзалу». Дежурный, как выяснилось, помещался в том же неприступном бараке.

Купив бутылку безалкогольного пива, Дорнбергер присел на стоявшую у киоска пустую багажную тележку и достал из портфеля пакет с полученным в дорогу сухим пайком. Вечно с этой дурой какие-то истории, подумал он устало, без аппетита жуя черствый бутерброд, сидела бы в своем Берлине – так нет же, за каким-то чертом помчалась в Рур. Теперь изволь тащиться следом. Да и «крайне важный вопрос» – наверняка какая-то очередная собачья чушь. Однажды, когда он еще работал в Гамбурге, ему прямо в лабораторию принесли телеграмму: «Бросай все приезжай немедленно». Он кинулся к машине как был, в халате; первой мыслью было, что тестя все-таки посадили. Старик упорно продолжал вести дела еврейских фирм, подлежащих ариизации, – может быть, даже не столько из симпатии к владельцам, сколько потому, что те не скупилась на гонорары. Но защищать их интересы становилось все опаснее: покупатель сплющ и рядом оказывался подставным лицом, а если за ним стоял какой-нибудь партийный бонза, то добиваться справедливой оценки означало играть с огнем... Да, старик вполне мог доиграться. Доиграться могла и сама Рената, с ее неразборчивостью в знакомствах и идиотской манерой болтать что попало и с кем попало. Словом, за три часа бешеной гонки до Берлина он проиграл в уме десяток вариантов один другого страшнее. А что оказалось? Ей нужен был совет – покупать или не покупать какие-то перья цапли или страуса, которые другая дура привезла со съемок за границей и теперь срочно продает. Можно держать пари, что и теперь что-нибудь в том же духе. Зачем, собственно, ему туда ехать, какое ему теперь, собственно, вообще дело до этой идиотки?

А впрочем, может, это и к лучшему, что он не сразу едет в Берлин. В Берлине не избежать встречи с Розе, а тот опять примется за свое. Тут им действительно не понять друг друга: шпионаж есть шпионаж, какими бы высокими мотивами он ни прикрывался. Тем более – в этой области... Надо бы поподробнее расспросить Розе о той поездке Гейзенберга к Бору. Гейзенберг, похоже, хотел предложить «папе Нильсу» заключить нечто вроде джентльменского соглашения между физиками воюющих стран: добровольно отказаться на время войны от всех работ, связанных с ядерным делением. И, похоже, «папа Нильс» уклонился от разговора. Хотя встреча имела место в оккупированном Копенгагене, вряд ли Бор мог подозревать Гейзенберга в провокации – скорее всего, просто понимал, что время джентльменских соглашений уже кончилось.

Узнав, что у нас работают с ураном, союзники не могли не форсировать аналогичных работ у себя. Это естественно. В последний свой отпуск он говорил с одним коллегой и поинтересовался – есть ли заслуживающие внимания публикации в английских и американских журналах (Институт кайзера Вильгельма получал их через Женеву). Оказалось, что уже два года в специальной периодике нет ни строчки по поводу урана – это значит, что тема взята под контроль правительствами, стала секретной, военной. Какие уж тут, к черту, «джентльменские соглашения». А передача информации в таких условиях?

– Привет, капитуся! – окликнул Дорнбергера молодой женский голос. Вздрыгнув, он обернулся – перед ним стояло чумазое существо, которое он на первый взгляд принял бы за мальчишку, если бы не слишком явно обрисовывающий фигуру тесный и латаный комбинезон. На груди и на бедрах комбинезон был особенно засален – похоже, об него вытирала руки целая бригада смазчиков.

– Спокойно, спокойно, капитан, честь можете не отдавать, – снисходительно объявила девчонка с генеральскими интонациями в голосе и села рядом. – Закурить есть?

Дорнбергер, посмеиваясь, достал из портфеля нераспечатанную пачку «Юно».

– Почему «Юно» круглые? – задала девчонка рекламный вопрос и, подмигнув, тут же ответила на него не менее общеизвестной непристойностью. – Покорнейше благодарю, майор. Далеко ли изволите держать путь?

– К победе, уважаемая, куда же еще.

– Наконец-то истинно германский ответ! А то, знаете, кругом одни пораженцы. Я вот к чему – с поездами сейчас сами знаете как; если до вечера уехать не удастся, так у меня жилье тут рядом. Мать работает в ночную, сестренки-братишек нет, все тип-топ. А?

– Сколько тебе лет? – полюбопытствовал Дорнбергер.

– Мне-то? Шестнадцать, а чего? Я знаете какая развратная, – объявила она с гордостью. – Мне известны сто способов!

– Неужто целых сто? Скажи на милость, а я и не подозревал, что их столько. Привык как-то обходиться одним. Ты что же, здесь работаешь?

– Надо ведь помогать героям фронта, – объяснила она, закинув ногу на ногу и отводя от губ сигарету жестом Марики Рёкк, играющей даму из высшего света. – Пошлют к Хейнкелю или на «Крупп-Грузон», там и вовсе сдохнешь! Через два года я смогу в зенитчицы, – у тех жизнь шикарная, а пока тут на сцепке... Ну так как – организуем это дело? Помоюсь после работы, переоденусь, и – зиг хайль!

– Да нет, боюсь, ты меня найдешь дилетантом. Мы лучше давай вот что сделаем – я дам деньги и запишу номер поезда, а ты мне организуй билет, хорошо? Ты ведь знаешь, к кому тут обратиться.

– Знать-то я знаю! А сигареты еще есть?

– Нет, только талоны.

– Сойдет, можно талонами. Эту пачку я забираю, и гоните еще на две.

– Помилуй, это же просто грабеж!

– Да вам чего, собственно, требуется – ехать или сидеть тут на заднице и курить свои сигареты?! Ну и сидите на здоровье!!

– Хорошо, хорошо, только визжать не надо... – Дорнбергер отделил требуемое количество талонов и отдал девчонке вместе с вырванным из записной книжки листком, где написал номер поезда и станцию назначения. Когда та удалилась, насвистывая модный шлягер и узывно виляя тощими бедрами, он подумал, что разумнее было бы талоны не отдавать. Скорее всего, паршивка и не пойдет ни за каким билетом, а сейчас будет рассказывать о доверчивом простофиле.

Ну и черт с ними со всеми, решил он, имея в виду обеих сразу. Билет в Берлин у него есть, дождется следующего поезда и уедет, а в Эссен можно дать телеграмму. Пусть-ка изложит свой «крайне важный вопрос» в письменном виде. Он достал письмо, перечитал, украдкой понюхал и фыркнул с неодобрением. От запятых отказалась, поскольку все равно не умеет ими пользоваться, но чтобы бумага была не надута – это никогда. И эти английские словечки, это идиотское написание имени без конечного «ха» – Эрик вместо Эрих, – вероятно, кажущееся ей таким изысканным! «Вечная женственность», пропади она пропадом...

Он доел бутерброды, допил согревшееся и ставшее от этого еще более мерзким эрзац-пиво и собрался было снова идти к бараку, чтобы узнать насчет ближайшего берлинского поезда, как вдруг услышал голос развратной сцепщицы.

– Эгей, группенфюрер! Алли-алло! – визжала она, высовываясь из окна багажного отделения. – Шпарьте сюда, быстро!

– Ну, билет я организовала, – сообщила она, когда он подошел, – но только кассирше тоже чего-то надо дать. Я ей не стала говорить, что у вас есть табачные талоны, а как насчет этого?

Она состроила гримаску и потерла большим пальцем об указательный. Дорнбергер кивнул, полез за бумажником.

– Хватит с нее пяти марок, – объявила сцепщица. – Нечего их баловать, все равно половину билетов разворовывают! Знаете, сколько надо отвалить, чтобы устроиться на железной дороге в кассу? Зато и живут они – как бог во Франции, вот чтоб меня завтра разбомбило! Я сама знаю одну кассиршу, которая курит только американские сигареты, трофейные, и окурки

кидает на землю – вот так запросто, а картошку каждый день жарит на сливочном масле... Ну, ладно! Проездные документы у вас в порядке? А то, может, вы вообще шпион, я почему знаю, верно? Давайте сюда, и пошли. К самой кассе не подходите – подождете меня вон там...

Не прошло и десяти минут, как она вернула ему бумаги вместе с билетом до Эссена.

– Поезд будет через два часа, – сказала она, – жаль, уже не успеем. А то я бы вас уговорила!

– Ты, милая моя, когда-нибудь доиграешься.

– Ну и доиграюсь, – отозвалась она беспечно, – подумаешь! Все равно скоро конец. Тут ведь бомбят каждый день – это сегодня вам повезло, что тихо. А так, – она махнула рукой. – Ясно, кругом сплошь военные заводы, один «Юнкерс» чего стоит! Целый город. Я знаю, у меня там мать в кузнечно-прессовом. Штампует какую-то фигню для пикировщиков. Ю-87, «штука» – слышали? Ладно, капитан, счастливого пути. А я еще почему хотела сделать вам удовольствие – вид у вас очень уж невеселый...

Поезд ушел из Магдебурга почти по расписанию, но уже через полчаса остановился на каком-то разъезде и ждал бесконечно долго, пропуская товарные составы. Потом объявили воздушную тревогу. Было уже темно, в купе едва тлела под потолком маленькая синяя лампочка, попутчики – в основном тоже отпускники – храпели, привалившись кто в угол дивана, кто на плечо соседу. Вагон был итальянский, с прикрепленными к исцарапанным лакированным панелям видами Лигурийской Ривьеры; над головой у спящего напротив летчика было, в качестве дополнительного украшения, отбито по трафарету белой краской: «Il Duce ha sempre ragione» – «Дуче всегда прав», – не столько понял, сколько догадался Дорнбергер по аналогии со знакомыми латинскими корнями. Почему эти нынешние подонки с таким упорством твердят о собственной непогрешимости? Черт побери, были же и раньше ничем не ограниченные в своих действиях властители, была абсолютная монархия, но ведь вот ни Старому Фрицу, ни Королю-Солнцу и в голову не могло прийти украсить Берлин или Париж подобными изречениями, хотя скромностью не отличался ни тот, ни другой...

Дорнбергеру вспомнилась теоретическая конференция в Риме в начале тридцать седьмого года – они ездили туда с Бонхоффером, Суэссом и еще одним молодым радиохимиком из Гейдельберга. Их познакомили с профессором Ферми – легендарный автор теории бета-распада оказался темпераментным человечком с живыми черными глазами на оливковом тонкогубом лице, у него была еще странная особенность: сидя он был нормального роста, а стоя – ниже других. После закрытия конференции ее участников повезли на два дня в Альпы, где «дотторе Энрико» (даром что коротышка) показал себя совсем неплохим горнолыжником... Двумя годами позже Ферми, уже нобелевский лауреат, эмигрировал в Соединенные Штаты.

Из Италии тогда уехало еще несколько его сотрудников – Сегре, Разетти... Интересно, что в Германии такого не было. Отсюда уехали только те, кого вынудили это сделать. Да и то в большинстве иностранцы, как Лиза Мейтнер – австриячка или тогдашний директор берлинского института датчанин Питер Дебай. По сути дела, остались все, причем независимо от своих политических убеждений.

Надо полагать, такая профессия. Писатели, например, те разбежались. Хотя опять-таки – большинству пришлось это сделать. Вилли Грот сказал однажды о Томасе Манне, которого обожал и мог перечитывать без конца, что нацисты его наверняка бросили бы в кадет, и не только за грехи брата. А почему, казалось бы? Если они так заботятся о престиже «арийской расы», то должны были бы гордиться, что Германия дала миру писателей такого масштаба. Сам Дорнбергер не читал «Волшебной горы», но покойный тесть, мнению которого он вполне доверял, советовал непременно прочитать.

Да, интересно, как им сейчас работается в Америке... Соединенные Штаты, похоже, стали мировым центром физики – шутка ли, с такими именами, как Эйнштейн, Ферми, Сцил-

лард... Розе слышал от кого-то, что старика Бора последнее время усиленно уговаривают бежать из Дании; если «папа Нильс» действительно исчезнет, можно не сомневаться, что и он рано или поздно окажется там же. Америка, страна радужных надежд...

А вот Гейзенберг не захотел, хотя ему перед самой войной предлагали кафедру в Колумбийском университете. При всей своей отключенности от жизни он несомненно понимал, что война неизбежна, и все же вернулся, не захотел остаться в Штатах. По каким мотивам? Не хотелось бы думать, что здесь сыграла роль близость к сильным мира сего (в частности, семейное знакомство с Гиммлером); Гейзенберг мог не сомневаться, что его положение в Америке тоже было бы достаточно высоким. И уж во всяком случае, куда более прочным...

Ну, Гейзенберг ладно – это хоть человек, относящийся к режиму вполне лояльно, пусть не столько из симпатии, сколько из осторожности. Так или иначе, конфликтов с властью у него не было. А что удержало от эмиграции неистового Макса фон Лауэ, открыто конфликтующего где только можно? Говорят, послушание у немцев в крови; может, все дело в этом? Послушание не самого прямого и примитивного вида, а лежащее где-то глубже. Макс до сих пор не боится во всеуслышание называть Эйнштейна величайшим физиком современности – значит, не настолько уж он «послушен». Однако уехать, порвать со своей страной...

Да, не так это просто. В Сталинграде все понимали преступную бессмыслицу происходящего, но продолжали драться. Сам он тоже понимал, но ведь ему и в голову не могло прийти – взять, скажем, и сдать в плен. Если бы сдалась армия, дело иное; Паулюсу следовало сдать армию еще в ноябре, когда окружение стало фактом. Сдать армию – и застрелиться. Но Паулюс не сделал ни того ни другого – армия продолжала драться, и каждому солдату оставалось только умереть рядом с товарищами. Или выжить, если повезет, но тоже вместе с другими. Какое, собственно, право было бы у него пытаться спасти свою жизнь, когда рядом гибли тысячи таких же, как он?

Он постепенно задремал, потом несколько раз просыпался, возвращаясь к своим мыслям, и снова они начинали путаться. Поезд то шел, то стоял. Когда Дорнбергер проснулся в очередной раз, было раннее хмурое утро, он вышел в коридор, оттянул вниз тяжелую оконную раму. С грохотом колес ворвался прохладный сырой ветер, пахнувший дождем, паровозным дымом, химической гарью. Машинист, видимо, пытался наверстать ночное опоздание – вагон мотало на гремящих стрелках, мелькали цветные огни сигналов, рельсы стремительно змеились, то сбегаясь вместе, то снова упруго расслаиваясь на две, три, четыре колеи. Обвешанная людьми пригородная «сороконожка» некоторое время бежала рядом, медленно отставая, пока ее не заслонил эшелон с укутанными в брезент крупногабаритными грузами. Пошли мелькать встречные и попутные, маневрирующие и стоящие на запасных путях составы – пассажирские и товарные вагоны всех цветов и всех видов, маркированные железными дорогами всех европейских государств, цистерны, ковши шлаковозов, гондолы с углем, щебнем, рудой, платформы с зачехленными и незачехленными танками, зенитными пушками, разрисованными под пятнистых ящеров штурмовыми орудиями. А дальше, насколько было видно, разноцветно дымили бесчисленные трубы, громоздились доменные печи, окутанные облаками пара решетчатые башни градирен, газгольдеры, батареи кауперов и коксовых печей, тускло отсвечивали стеклянные крыши цехов, похожие на гигантские теплицы, мелькали спицами колеса шахтных подъемников, тянулись километры и километры трубопроводов, линий высокого напряжения, порталных кранов, подвесных канатных дорог с бегущими вереницами вагонеток. Это уже был Рур – кузница германской войны, исполинский комбинат смерти, раскинувшийся на тысячу квадратных километров от Дортмунда до Дуйсбурга.

Наслышанный об участвовавших в последнее время бомбежках этих мест, Дорнбергер вглядывался в суровый индустриальный ландшафт, но видимых разрушений пока не было – лишь кое-где четкая геометрия металлоконструкций уступала место хаотичной путанице искоженного огнем железа да раза два промелькнули разрушенные станционные постройки. Если

не считать этого, единственным зримым напоминанием о вражеской авиации оказались стоявшие в тупике на станции Бохум платформы, груженные дюралевым ломом. На одной громоздилась носовая часть обгорелого фюзеляжа «летающей крепости», на другой торчал огромный киль стабилизатора и лежало крыло с американским опознавательным знаком. Обломки английского, судя по черной и камуфляжно-зеленой окраске, тяжелого бомбардировщика помещались на третьей платформе.

А вот западнее Ваттеншайда картина стала меняться. Здесь уже было больше развалин, местами еще не разобранных, окна станционных зданий были наспех заделаны картоном или затянуты полупрозрачным игелитом. К обычным для этих мест запахам каменноугольного дыма и газа все ощутимее примешивался едкий чад пожарища – горелых тряпок, бумаги, дерева.

Пожарище и было первым, что встретило выходящих в Эссене пассажиров магдебургского поезда, – рядом с вокзалом догорал огромный краснокирпичный корпус Дома техники. Когда Дорнбергер, пройдя проверку документов, спустился вниз и вышел на привокзальную площадь, его прежде всего удивило безразличие прохожих – люди, не обращая никакого внимания на скопление красных машин и суету пожарных, проходили мимо, деловито переступали через раздутые водой брандспойты, стараясь не замочить ноги в лужах. Возле отеля «Хандельсхоф» Дорнбергеру посчастливилось поймать такси – сидевшая за рулем немолодая женщина нехотя ответила, что бомбили прошлой ночью и еще дважды перед этим, но больших разрушений в городе нет. Действительно, южная часть Эссена, по которой они сейчас проезжали, выглядела довольно благополучной.

Сделав очередной поворот, таксистка сказала, что это вот и есть нужная ему улица, и переспросила номер дома. Дорнбергер попросил остановить, ему вдруг захотелось пройти пешком. Честно говоря, он не спешил увидеться со своей – как чопорно выразился тогда Розе – «фрау супругой».

Супругами они не были уже давно, разрыв произошел еще до войны, не разрыв даже, а так, просто постепенный отход друг от друга. В какой-то момент это стало фактом, но возиться с разводом не хотелось – ему было все равно, женат он формально или не женат, а она боялась за свою карьеру. На разводы в «третьей империи» смотрели неодобрительно, поощрялись они лишь в тех случаях, когда кто-то из супругов оказывался расово неполноценным или политически неблагонадежным. Разъехавшись, Дорнбергеры не то чтобы остались друзьями (он все-таки не мог ей простить того, что – как выяснилось много позже – она в первый год замужества ухитрилась переспать с двумя из его приятелей), но хорошие отношения сохранили. Иногда, соскучившись в одиночестве, он проводил с нею ночь-другую. Иногда она занимала у него деньги. С осени тридцать девятого года они виделись всего дважды.

Улица была широкой, безлюдной и довольно мрачной, с чопорно отстоящими друг от друга особняками в тяжеловесном стиле конца века. В то время, вероятно, этот район стремительно выраставшей крупновской столицы облюбовала солидная публика – коммерции советники, высокопоставленное чиновничество, адвокаты с хорошей практикой. Сейчас особняки обветшали и почернели от полувековой копоти, за чугунным литьем оград беспорядочно разрослись лишенные ухода вязы и липы, но самодовольный бюргерский «дух места» все еще угадывался за рустованными фасадами, за тусклым зеркальным стеклом высоких окон, за резным дубом дверей, с которых давно исчезли конфискованные еще в первую мировую войну латунные дощечки с пышными титулами. Из каждого парадного, казалось, мог в любую минуту появиться плотный господин с туго подкрученными кайзеровскими усами, в подпирающем щеки высоком крахмальном воротничке...

Такого же типа был и дом номер 18. Дорнбергер прошел мимо запущенного газона, долго звонил; отворила ему прислуга, потом появилась и сама Рената в чем-то домашнем.

– Боже мой, это ты! – закричала она. – А я не ждала так скоро, Розе сказал, что тебя выпишут не раньше конца мая! Но тем лучше, я так рада, сейчас оденусь, а ты пока посиди здесь, можешь вот почитать...

Она чмокнула его в щеку, сунула в руку какой-то журнал и исчезла, оставив одного в холодной комнате с довольно запущенной обстановкой. Прислуга тоже ушла, даже не показав, где можно раздеться. Он нацепил фуражку на пустой рожок стенного бра, откуда была вывинчена лампочка, и, не снимая плаща, присел на пыльный диван. Журнал оказался последним номером «Дойче фильм» с ее ярким портретом на обложке: «Рената Дорн в новой музыкальной комедии УФА “Императорский вальс”».

Он долго смотрел, пытаясь вспомнить – чем могла когда-то околдовать его эта женщина. Загадочная штука – красота, внешняя привлекательность... Это первое, на что обращалось внимание (и уже не видишь ничего другого), но это же и первое, что очень скоро перестаешь замечать. И потом в один прекрасный день спрашиваешь себя: «А что, собственно, в ней такого было?»

Дорнбергер покачал головой, так и не найдя ответа на свой вопрос, отложил журнал, закурил. Пачку тех же «Юно» ему удалось вчера спасти от магдебургской хищницы. Все это хорошо, но кто будет доставать ему билет здесь, в этом чертовом Эссене?

– А вот и я! – весело объявила Рената, распахнув дверь. – Ты прямо с поезда? Еще не завтракал? Сейчас что-нибудь организуем, подожди...

Ждать пришлось долго, но она все же появилась – принесла кофейник, походную плитку на сухом спирту, хлеб, консервы.

– У этой бестолковой дуры ничего не допросишься, – тараторила она, суетливо накрывая на стол, – хорошо еще, я всегда вожу с собой всякие штуки... у меня даже был электрический кипятильник, такой, что погружают, знаешь, но его пережгли, а новый не достать ни за какие деньги. Да и что толку – во всех отелях розетки отключены. Хорошо хоть, есть пока этот спирт. Кофе, к сожалению, не настоящий. Ничего?

– Настоящего я уже и вкуса не помню, – отозвался он. – Впрочем, в «котле» однажды выдали немного – на Рождество.

– Да, расскажи, как там было! Мы ведь по телефону так толком и не смогли... Ты не обиделся, что я не приехала? Но я действительно не могла, поверь!

– Да зачем было приезжать. Ранение оказалось нетяжелым, ты же сама видишь.

– Но хромота останется? А ну-ка, пройдишь!

Он встал, прошелся. Рената, задумчиво прикусив палец, смотрела на него оценивающим взглядом, потом кивнула.

– Ничего страшного. Тебе нужна красивая трость – строгая, без всяких финтифлюшек, черного дерева. Я скажу реквизиторам, они достанут. Нет, но все-таки – это действительно было так ужасно?

– Ну, болело первое время.

– Да нет, я спрашиваю – там, в «котле»!

– А-а, там... – Дорнбергер пожал плечами. – Там, Ренхен, было скверно. Дай я открою, у тебя не получится.

– Да, я вечно с ними мучаюсь. Это, кажется, ливер – у меня еще была банка сардин, представляешь, но пришлось отдать сапожнику. Он обещал поставить настоящий приводной ремень. А ты думаешь, это действительно будет прочно?

– На подошву? Вероятно. Приводные ремни делались из хорошей кожи. Как ты вообще живешь, расскажи, Я вижу, снялась в новом фильме?

– Да, к сожалению. Такое дерьмо, кошмар, сценарий прошел только из-за того, что на главную роль прочили саму Паулу.

– Какую Паулу?

– Ну, Паула Вессели – последняя фаворитка Колченогого. Этакая богемская телка, можешь себе представить... просто поразительно, до чего нашего козлика влечет к славянкам. Помнишь тот скандал с Лидой Бааровой? Ну, что ты, такая была кошмарная история... садись, милый, я тебе наливаю. Сама я уже завтракала – совсем рано, не спала всю ночь, боялась. Вообрази, вчера томми опять прилетали, то есть буквально ночи не проходит – сбросили совсем недалеко, у вокзала. Я так напугалась!

– Да, я видел. Там еще горит. Кстати, у тебя нет знакомств на железной дороге? Мне нужен будет билет до Берлина.

– Надо подумать... Ты когда едешь?

– Хотелось бы поскорее. Что у тебя за «важный вопрос»?

– У меня – важный вопрос? Ах да! – я и забыла. Понимаешь, я собираюсь продать дом, ну и хотела спросить, не будешь ли ты против.

– А при чем тут я? Дом твой, продавай на здоровье.

– Что значит «мой», все-таки папа подарил его нам на свадьбу, и вообще... мы там жили вдвоем... Ты, кстати, не забыл, что твои книги еще там?

– Их я могу забрать в любой день. Или свалю пока в гараже, если не будет куда перевезти. Машину так и не реквизировали?

– Нет, забрали только крыши. Американские авто почему-то не реквизируют – кажется, из-за того, что нет запасных частей.

– Еще и из-за горючего, они ведь неэкономны. Знаешь, сколько жрет наша? Тридцать пять литров на сто километров, мне одной заправки едва хватало до Гамбурга... восемь цилиндров, еще бы, а рабочий объем – шесть и две десятых.

– А ты не хочешь ее забрать?

– Блестящая мысль. Особенно если вспомнить, что нет резины.

– Ну, на черном рынке можно достать, наверное. Розе сказал, что ты теперь будешь служить в Берлине...

– Да что он знает, твой Розе. Попробуй продать машину вместе с домом. А еще проще – дай объявление: «Меняю “паккард” в хорошем состоянии, модель “родстер-734”, на дамский велосипед или кило шпига». В обоих случаях ты в выигрыше. А что, дом действительно хотят купить? Не понимаю, каким нужно быть идиотом – покупать сегодня дом в пригороде Берлина.

– Представь себе, покупают! Это для каких-то махинаций, мне объясняли, только я не очень поняла. Если разбомбят, им даже выгоднее, там что-то с возмещением ущерба...

– В Груневальде, впрочем, могут и не разбомбить, это не Сименсштадт. А где ты собираешься жить? – квартира отца ведь сгорела, ты писала.

– Да, там целый квартал сожгли в одну ночь. Но мне не нужна квартира – я, видишь ли... – Она замаялась, явно не решаясь что-то сказать. – Эрик, только это строго между нами, ладно? Понимаешь... дело в том, что я решила удрать.

– Давно пора. Я и у Розе тогда спросил – какого черта она там торчит под бомбами. Поезжай в Тюрингию, вот где спокойно.

– Какая Тюрингия, я хочу в Лиссабон.

Чашка Дорнбергера зависла над столом.

– Куда? – переспросил он недоверчиво.

– Пока в Лиссабон, а там видно будет. Не смотри на меня так, будто я сошла с ума! Это совершенно реальный план. Сейчас у нас начинают снимать фильм о летчиках легиона «Кондор» – ну, те, что воевали в Испании, помнишь? Называется «Они атаковали первыми», у меня там совсем маленькая роль – молодая вдова испанского офицера, он был замучен красными, а она потом влюбляется в немецкого пилота. Павильонные съемки уже идут, а в июле вся группа выезжает на натурные. Естественно, в Испанию. Понимаешь?

– С трудом. Итак, ты едешь туда, а там пытаешься перейти португальскую границу. Каким образом ты думаешь это осуществить? Ты знаешь, как во время войны охраняются границы нейтральных стран?

– Ну, Испания ведь тоже нейтральна, и перебраться из одной нейтральной страны в другую...

– Не говори глупостей, Испания не нейтральна. Испания – это наш невоюющий союзник, она полностью под нашим политическим контролем, и наш посол в Мадриде имеет больше реальной власти, чем генералиссимус Франко.

– Ну, не знаю, – недовольным тоном отозвалась Рената. – Ты вот всегда так! Что б я ни сказала, у тебя сразу тысяча возражений. А я разговаривала с братом Лизелотты Кнапп – помнишь, такая пикантная блондинка с длинным носом? – он моряк и недавно вернулся. Их лодка была повреждена у берегов Португалии, они там высадились. Ну, конечно, их сразу интернировали, а он потом бежал из лагеря и очень легко перебрался в Испанию. Говорит, там контрабандисты и все такое, а охрана больше для порядка. Разумеется, будь мы вместе...

– То что было бы? – спросил Дорнбергер, не дождавшись продолжения.

– Нет, я просто подумала! Собственно, Эрик, а почему бы тебе... ну, я хочу сказать, ты тоже мог бы уехать...

– Дезертировать, что ли? Я, как тебе известно, нахожусь на военной службе.

– Бог мой, ну и что? Не станешь же ты меня уверять, что жаждешь пасть за фюрера и Великую Германию!

– Только не надо путать. Фюрер – это одно, а Германия – нечто совсем иное. Ты лучше скажи, что заставляет эмигрировать тебя...

Произнеся вслух это слово – «эмигрировать», – Эрих вдруг вспомнил свои ночные размышления. Можно подумать, он уже тогда предчувствовал, о чем пойдет речь. В самом деле, удивительные случаются совпадения.

– Что заставляет, что заставляет! – воскликнула Рената. – Да боже мой, все решительно! Я боюсь бомбежек, боюсь всяких повинностей и мобилизаций, мне все это надоело, понимаешь – надоело! Я уже не помню, когда я могла зайти в магазин и просто купить пару туфель, или шелковые чулки, или мех, или, наконец, просто съесть или выпить то, чего хочется! Я вчера полгорода обегала в поисках проклятых резинок для пояса, я не могу так больше!! Мне уже тридцать, Эрик, еще несколько лет – и я не получу ни одной приличной роли, я не Марлен Дитрих, чтобы до старости играть молодых героинь, пойми ты...

Она красиво разрыдалась, это всегда получалось у нее эффектно, режиссеры часто заставляли ее плакать в крупном плане. Сейчас, впрочем, она, возможно, и не играла. Остаться без резинок – это, конечно, серьезно, подумал Дорнбергер. Но что делать, каучук всегда был стратегическим сырьем, какие уж тут подвязки.

– Я тебя понимаю, Ренхен, – сказал он, подавив улыбку. – Это все неприятно, согласен. Но послушай, ты ведь не одна в таком положении. Вернее, можно сказать, что твое положение еще намного лучше, чем у других. Ты относительно свободна, тебе не надо ходить на работу или хотя бы думать о детях. Миллионы немецких женщин испытывают те же трудности и те же лишения, но плюс к этому они еще и простаивают по десять часов у станка, а дома у них дети, которых нужно и одеть, и накормить, и успокоить, когда начинают выть сирены...

– Да что мне до них! – закричала Рената. – Эти твои «миллионы немецких женщин» еще три года назад визжали от восторга, когда фюрер появлялся на трибуне! Вот пусть теперь и получают то, чего хотели!

– Ну, не все ведь визжали, – возразил он, – и далеко не все хотели войны. Не надо так думать о своем народе, это несправедливо и... высокомерно. Может быть, мы с самого начала понимали немного больше, чем простые люди. Во всяком случае, должны были понимать. А сделали мы что-нибудь? Ничего мы не сделали и не собирались делать, поэтому не надо теперь

валить вину на других. Я ничего дурного не хочу сказать о твоём покойном отце, но разве не такие, как он, допустили Гитлера к власти?

– Не смей трогать папа! – завопила Рената. – Кто он тебе был – Гинденбург, Тиссен?!

– Ренхен, учись спорить спокойно. Твой отец был депутатом рейхстага...

– В тридцать третьем он сразу потерял мандат, ты это прекрасно знаешь!

– Знаю. Потому и потерял, что ни он, ни другие деятели Веймарской республики не сумели остановить Гитлера. Да и не пытались, если уж говорить всерьёз...

Он допил остывшую кофейную эрзац-бурду, налил себе ещё. Рената потрогала кофейник и зажгла под ним ещё одну таблетку спирта.

– Бери побольше сахара, мне тут достали. У тебя нет сигареты? Мерси...

– Так что, видишь, – продолжал он, протягивая ей зажигалку, – даже такие люди в чём-то тогда ошиблись. Что касается женщин... которые, как ты говоришь, визжали от восторга... то их мужьям до того же тридцать третьего года случалось стоять в очередях за пособием по безработице. Не так это все просто. А эмигрировать...

Он не договорил и пожал плечами, задумчиво вертя зажигалку в пальцах.

– Ты помнишь профессора Ферми? Когда мы перед войной ездили в Рим, а потом нас всех повезли в Кортина-д'Ампеццо, он ещё учил тебя мазать лыжи, – помнишь? Я потом тебе говорил, он получил Нобелевскую премию и прямо из Стокгольма махнул в Нью-Йорк. Так вот, я почему-то вспомнил сегодня в поезде. Все-таки не могу понять...

– Чего ты не можешь понять? – спросила Рената. – Что человеку опротивела страна, из которой сделали казарму? Что ему наконец захотелось пожить в нормальных условиях?

– Нормальных, – повторил Эрих. – Гм... не знаю, такими ли уж «нормальными» могут показаться итальянцу Соединенные Штаты. А насчет того, что опротивела страна, то это ведь тоже не самая достойная позиция – взять и уехать. Страна опротиветь не может; своя страна, я хочу сказать. Опротиветь могут порядки. Но если они тебе настолько противны, что ты не можешь больше с ними мириться, то делай что-то, пытайся как-то их изменить...

– Красивые слова все это. Что мог сделать твой римский профессор – свергнуть Муссолини?

– Ну, зачем же так радикально. Видишь ли, он мог продолжать читать римским студентам хорошие лекции, а это не так мало... потому что сейчас их вместо него читает какой-нибудь болван чернорубашечник.

– Ну и что? – Рената пожалала плечами.

– То, что ты дура! – взорвался Дорнбергер. – А если бы от нас уехали Боте, Гейзенберг, Лауэ? Если бы их места заняли «партайгеноссен» вроде Штарка или Ленарда? Тебе это тоже было бы все равно? А вот мне, представь себе, нет!

– Ах, тебе – нет! – Рената театрально захохотала, закидывая голову. – Но почему же ты, когда решил напялить мундир, не подумал – какой «партайгеноссе» займет твое место в лаборатории?

– Это совсем другое. Я оттуда ушел, чтобы не заниматься работой, которая... ну, которой не хотел заниматься. Право такого выбора есть у каждого. Но тот, кто эмигрирует, он ведь волей-неволей делает выбор между родиной и...

– Ну, ну? Договаривай! Скажи уж прямо, что считаешь всякого эмигранта предателем – как и утверждает Колченогий. Боже мой, послушал бы тебя папа! У нас в семье всегда с таким уважением говорили об эмигрантах... он гордился своими друзьями, которые уехали!

– Что помешало уехать ему?

– Ну, если откровенно – слишком любил свою работу...

– Плюс деньги, положение...

– Да! И деньги, и положение! Я его понимаю, сама люблю комфорт и обеспеченную жизнь; тем более я преклоняюсь перед людьми, которые уезжали, сумев отказаться от всего этого. И объявлять их предателями, как это делаешь ты...

– Я далек от мысли объявлять их предателями, – терпеливо возразил Дорнбергер. – Не надо приписывать мне то, чего я не говорил. Очень хорошо, что существует немецкая политическая эмиграция; она в известной степени реабилитирует Германию в глазах мира; если бы не братья Манн, Фейхтвангер, Цвейг – ну, не знаю, кто там еще, Брехт, – нас, немцев, отождествляли бы с нацизмом без оговорок. Я только говорю, что сам я так поступить не мог бы. Эти люди избрали такой путь борьбы – очень хорошо! Но есть и другие пути, поэтому не надо считать тот единственным и обязательным для всех. Для меня он неприемлем.

– Ладно, мой милый, я не собираюсь тебя уговаривать. Оставайся в своей обожаемой Германии, раз уж ты такой патриот! Отечество – лучше не придумать.

– Да нет, – он усмехнулся, – есть куда лучшие. Я, например, в детстве мечтал о Новой Зеландии... с тех пор как прочитал биографию Резерфорда. Мягкий климат, всегда тепло, никаких хищников... райская земля! Но, видишь ли, Ренхен, отечество не выбирают, вот в чем загвоздка...

В Берлин они вернулись вместе. Рената прямо с Потсдамского вокзала отправилась на студию, а Эрих поехал в Груневальд – упаковать книги.

С тяжелым сердцем отпер он входную дверь. В комнатах, несмотря на теплый день, было холодно, пахло пылью и нежилем, голые стены со скупой развешенными кубистическими полотнами наводили уныние. Дом, построенный в двадцатые годы архитектором Мендельсоном и им же декорированный в модном тогда стиле «баухауз» (стеклянные столы, бройеровские кресла из хромированных труб и осветительная арматура, похожая на реквизит фильмов Ланга), считался когда-то образцом современного жилища; попадая сюда впервые, гости Ренаты шумно восхищались функциональностью решения интерьеров, самому же Эриху казалось, что все это слишком смахивает на приемную зубного врача. Но тогда хоть здесь была жизнь...

Он поднялся наверх, постоял у двери спальни, нерешительно повернул ручку. Низкая квадратная кровать была застлана пожелтевшими газетами, из стоящей в углу высокой майоликовой вазы свесилось какое-то экзотическое растение, давно мертвое и неприятно похожее на Издохшего осьминога. А в остальном все было так же, тускло отсвечивали пыльные зеркала, на светло-серой стене белел в узкой хромированной рамке продолговатый лист ватмана с небрежно очерченным одной линией контуром обнаженной женщины. Эрих попытался вспомнить имя известного когда-то художника (подпись выглядела неразборчивым иероглифом), но не вспомнил. Интерлюдия в Эссене была, конечно, ни к чему, подумал он, отводя взгляд от рисунка. Следовало уехать сразу, ну или хотя бы на другой день...

Все было по-прежнему и в его комнате. Он скользнул взглядом по стеллажу с книгами – а стоит ли, собственно, с ними возиться? – и прошел к окну. За пыльным стеклом лежали в солнечной дымке отлогие, поросшие соснами холмы Груневальда, ему вдруг стало жаль этой тишины, этих холмов и этого дома, который давно стал для него чужим. Странно, подумал он, никогда не замечал за собой такой глупой чувствительности.

Спустившись в котельную, он отыскал несколько пустых картонных коробок из-под «перзилья», потом вернулся к себе и стал не глядя укладывать книги и комплекты журналов, папки и истрепанные тетради лабораторных дневников, все вперемешку. Если доведется когда-нибудь разбирать все это, работа будет иметь больший смысл... Но вообще сомнительно, чтобы кто-то – книги или он сам – уцелел к тому времени.

Когда полки опустели, он сел у окна в трубчатое кресло и вытянул больную ногу. Возня с книгами утомила его, он теперь вообще быстро уставал – начинало колотиться сердце, не

хватало воздуха. В гараж мне этого сегодня уже не перетащить, подумал он, придется приехать сюда еще раз. Да, после «котла» здоровье уже не то. Ну и черт с ним, зачем ему теперь здоровье.

Закурив, он посмотрел в окно и подумал, что, если бы не те сосны, отсюда была бы видна красная черепичная крыша виллы, где живет Планк. Или жил по крайней мере: великого старца, возможно, эвакуировали уже в более безопасное место – в порядке охраны национального культурного достояния. Как эдакую драгоценную мумию. Восемьдесят пять лет, страшно подумать. Многих ли из нас хватит на половину этого срока?

Да, им – старикам – повезло. Прожить долгую и целиком отданную любимому делу жизнь... У них, надо полагать, тоже были свои проблемы, но никому из них не пришлось усомниться в нравственной стороне того, чем они занимались. Мы, вероятно, первое поколение усомнившихся – и ужаснувшихся. Первое, но не последнее. Потому что этого уже не остановить.

Что из того, что открытие опоздало на десяток лет и эта война закончится без применения уранового оружия? Она тоже не последняя. А рядом с ужаснувшимися (иной скажет – трусами?) всегда найдутся фанатики «бесстрашной научной мысли», для которых никогда не встанет вопрос: допустимо или недопустимо...

Машинально он протянул руку к стоящему рядом большому консольному радиокомбайну и нажал кнопку. К его удивлению, шкала тускло засветилась – дом, оказывается, не был отключен от сети. Когда прогрелись лампы, казенно-бодрый голос забарабанил было о негигиеническом германском духе, но Эрих щелкнул переключателем и раскрыл дверцу фонотеки. Второй концерт Брамса стоял слева, как и тогда, и даже все шесть пластинок оказались на месте – Рената, к счастью, не добралась до этого альбома, иначе половина была бы перебита. Впрочем, она, кажется, вообще Брамса не любит.

Да, ничего не удалось, все пошло прахом. Вот и это тоже. Не главное, конечно, но когда не остается и этого... Должно же у человека что-то быть – или любимая работа, или сознание выполненного долга, или – пусть хотя бы как последнее убежище – что-то личное. А впрочем, нет, и это ничего бы не изменило.

Он сидел в этой пустой комнате, пахнувшей пылью и одиночеством, среди коробок с упакованным и никому не нужным итогом жизни, и слушал нечеловечески прекрасную музыку из иного мира. Мира, где у людей еще что-то было, где люди во что-то верили и на что-то надеялись. До чего мы слепы и недальновидны – именно недальновидны, и это при всей пытливости человеческого разума! Впрочем, что говорить о неумении провидеть будущее, если мы даже неспособны осмыслить прошлое, всем видимое, доступное для самого детального исследования! Ведь даже сейчас нам так и не понять до конца – что все же случилось в эпоху «торжества разума», чем этот блистательный и гордый своими триумфами девятнадцатый век подготовил и, сам того не заметив, сделал неизбежной тотальную катастрофу двадцатого...

Глава 4

Полковник Хеннинг фон Тресков, начальник оперативного отдела штаба группы армий «Центр», угодил под пули в самом, казалось бы, безопасном от партизан месте – на полпути между Оршей и Смоленском. Последняя деревенька, правда, несколько зловеще называясь «Красное», и сидевший за рулем адъютант пошутил по этому поводу, что местный гебитско-миссар явно нерадив: как правило, «золотые фазаны» из Восточного министерства проявляют особую бдительность по части топонимики захваченных территорий. Полковник буркнул в ответ, что данный населенный пункт переименовать не так просто. Тут, конечно, по логике само напрашивается «Браунау» – но нельзя, кошунство, фюрер может обидеться...

Ехали они без сопровождения охраны, дело было днем, а окрестные леса постоянно прочесывались, и вообще в этих краях последнее время было спокойно – насколько, конечно, может быть вообще спокойно в России. Когда из молодого березняка слева от шоссе ударили выстрелы (по звуку Тресков сразу узнал старую русскую винтовку образца 1891), лейтенант Шлабрендорф пригнулся к рулю и до упора вдавил педаль газа. Утробно взревев форсированным двигателем, открытый «Мерседес» ринулся вперед, отбросив седоков на спинки сидений. Сзади, уже слабее, хлопнуло вслед еще несколько выстрелов.

– Наше счастье, что у них не было автоматов, – заметил полковник, когда машина перелетела невысокий бугор, на мгновение словно оторвав колеса от земли, и понеслась вниз. – Странно, однако, что они вообще здесь. Вот вам и Красное.

– Где же им еще быть, – резонно возразил лейтенант. Сбросив газ, он достал из кармана платок и, сняв очки в тонкой золотой оправе, принялся методично протирать стекла, придерживая руль коленом.

– Нет, я хочу сказать, что последнее время не было сообщений. К тому же – зона усиленной охраны.

– О, русские умеют просачиваться...

Некоторое время оба молчали. Полковник сидел неподвижно, глядя прямо перед собой, его темное от загара лицо с глубоко посаженными глазами и упрямо сжатым тонкогубым ртом было мрачно, почти скорбно.

– Возможно, случайно забредший отряд, – сказал он негромко, словно думая вслух. – Как, вы говорили, в советской печати принято называть партизан – «народные мстители»?

– Народные мстители, – подтвердил адъютант. – Если мне правильно переводят.

– Что ж, будем справедливы, им есть за что мстить. Но признайтесь, Фабиан, когда они открыли огонь, – у вас не мелькнула мысль, что судьба склонна к мрачным шуткам?

– Мне было не до философствования – слишком испугался. Я штатский человек, Хеннинг, воинские доспехи не сделали меня воином.

– Ну, если вы думаете, что профессиональный солдат не подвержен чувству страха, то могу вас разуверить. Я тоже испугался, но мысль об иронии судьбы меня все же посетила. Было бы, согласитесь, чертовски забавно... если бы эти русские мстители ухлопали своих германских коллег.

– Нам было бы поделом, господин полковник. За некачественную работу.

Хеннинг фон Тресков помолчал, глядя на бегущий навстречу разбитый и потрескавшийся асфальт Минского шоссе. Машину сильно качало, и укрепленное на пробке радиатора кольцо с вписанной в него трехлучевой звездой все время перемещалось вверх-вниз, словно прицел в руках неумелого наводчика.

– Когда приедем, распорядитесь проверить передние амортизаторы, – сказал полковник. – На редкость бестолковый парень этот мой новый водитель... Уж о таких-то вещах мог бы позаботиться сам. Да, Фабиан, сработали мы с вами некачественно, что правда то правда.

– Правда и то, что нас подвела английская техника. Этот коварный Альбион...

Англичане и в самом деле крепко их подвели со своей прославленной техникой. Мощную взрывчатку какого-то нового типа (она была похожа на липкую замазку) и полагающиеся к ней бесшумные кислотные детонаторы прислал помощник Канариса Ганс Остер; абверовец, который доставил в Смоленск этот подарок, всячески расхваливал британское изделие: удобно, надежно, безопасно в обращении... Самое забавное, что так оно, вероятно, и есть. Тресков, не очень доверяя не имеющему навыка Шлабрендорфу, лично проверил и взрывчатку, и взрыватели, истратив несколько штук из ограниченного запаса. Каждый срабатывал ровно через тридцать минут – хоть часы проверяй. А в нужный момент произошла осечка. Да какая!

Гитлер прибыл в Смоленск утром тринадцатого марта, после совещания пообедал и сразу же отправился обратно. Фон Тресков, поехавший на аэродром вместе с другими штабными, в последний момент попросил полковника Брандта из свиты фюрера прихватить в Растенбург посылочку для генерал-лейтенанта Штиффа – две бутылки коньяка, у старого камрада семейная дата, ему будет приятно... Брандт заверил, что передаст непременно, сунул пакет в портфель и пошел к трапу.

Самолет должен был взорваться над границей генерал-губернаторства, но он уже миновал Варшаву, а полет продолжался нормально. Потом в штаб поступило сообщение, что фюрер благополучно прибыл в «Волчье логово». Обычно невозмутимый фон Тресков ворвался к своему адъютанту с серым лицом:

– Шлабрендорф, это дерьмо не сработало! Сейчас в Растенбург вылетает курьер фельдсвязи – я позвоню на аэродром, чтобы задержали, отправляйтесь в ставку и найдите Брандта. Заберите у него пакет – придумайте что-нибудь: или что вас прислал Штифф, или что произошла ошибка – словом, что хотите, но только быстрее, может быть вы еще успеете...

Опасность заключалась не в том, что посылка попадет к самому Штиффу – тот был в курсе; Брандт мог на досуге развернуть невостребованный пакет, чтобы полюбопытствовать, какой марки коньячком балуют себя штабники на Восточном фронте. К счастью, Шлабрендорф успел вовремя и Брандт, не выразив удивления, передал ему посылку. До этого момента Шлабрендорф держался, а потом нервы не выдержали. Очутившись наконец в двухместном купе поезда Растенбург – Берлин, он, уже не соображая, какой опасности подвергает себя и других пассажиров, запер дверь и вскрыл пакет с бомбой. Вытащив и разобрав взрыватель, он не поверил своим глазам: запал, оказывается, сработал, ударник был спущен – а взрыва не произошло. Как потом объяснил ему один химик, детонирующее вещество по какой-то неясной причине разложилось, перестало быть активным...

– Альбион Альбионом, – сказал полковник, – но все это, ей-богу, начинает припахивать мистикой. У нас отказывает взрыватель многократно проверенного типа, через несколько дней граф Герсдорф пытается рвануть себя вместе с фюрером на смотре в цейхгаузе – а тот покидает помещение на две минуты раньше...

– Ну, там он мог что-то почуять, – заметил Шлабрендорф. – У мерзавца, надо отдать ему справедливость, и впрямь есть шестое чувство. Чует опасность издалека, как кобель – землетрясение. Это вполне объяснимо в свете парапсихологии – представьте себе душевное состояние человека с набитыми взрывчаткой карманами, который через минуту должен будет нажать кнопку. Его мозг, несомненно, что-то излучает... А излучение может подействовать на особо восприимчивую к таким штукам натуру. Вам приходилось бывать в толпе, охваченной какой-то одной сильной эмоцией – скажем, страхом или восторгом? Это ведь заразительно. Так что бедняга граф явно излучал... и тем самым спугнул птичку. Вот случай с нашим взрывателем для меня действительно необъясним ни с какой стороны.

– Вам же сказали, имела место самопроизвольная деактивация фульмината.

– Да, но почему? Мало, что ли, вы их перепробовали. У вас был хоть один случай отказа?

– Химия, – буркнул полковник. – Чертовски загадочная штука, Фабиан. Всегда ее опасался. Кстати – тот ваш химик, удалось его вытащить?

– Какой химик, простите?

– Вы зимой просили Ольбрихта помочь вытащить из-под Сталинграда какого-то химика.

– Ах, тот! Да, его оттуда эвакуировали. Только он не химик, а физик.

– Вот как. А вы, помнится, говорили, что он занимался изотопами?

– Да, Хеннинг, но это физика.

– Какая же, к черту, физика, если я отлично помню, как нам в академии морочили голову этими изотопами на лекциях по химии!

– Значит, то были другие изотопы, химические. Но что капитан Дорнбергер – физик, это совершенно точно. Я хорошо его знаю, он зять моего бывшего принципала, доктора Герстенмайера.

– Герстенмайер, – повторил полковник. – Что-то мне эта фамилия напоминает...

– Он был довольно известный берлинский адвокат, специалист по коммерческому праву. В его конторе я начинал практику, еще в конце двадцатых годов. Он тогда баллотировался в рейхстаг от народной партии.

– В конце двадцатых? Я в то время пытался поправить свои дела биржевым маклерством; возможно, на этой почве мы с ним и встречались. Если он занимался коммерческим правом, то вполне возможно. А где он сейчас?

– О, он умер в начале войны. Так вот, Дорнбергер женат на его дочери, там мы познакомились.

– Ах так. Значит, вы ходатайствовали просто за приятеля, – фраза прозвучала не как вопрос, скорее как констатация, и не слишком одобрительная.

– Не совсем так, признаться. Дело в том, что об этом меня попросил Остер. Не знаю, почему он сам не счел удобным обратиться к Ольбрихту.

– Он что, связан с абвером, этот ваш физик?

– Его хотели связать. Похоже, ничего не получилось.

– И здесь осечка. Зря, значит, вытаскивали...

– Не скажите. Просто подход, очевидно, оказался ошибочным... Дорнбергер – это, знаете... личность весьма любопытная. Мог сделать блистательную карьеру в науке, мне говорили специалисты.

– Но хоть человек-то порядочный?

– Временами – до глупости. Это ведь тоже поддается использованию. Я думаю, на Бендлерштрассе им будут довольны.

– Хитрецы, – буркнул Тресков. – Фабиан, остановите-ка машину, разомнем ноги... Вы так гоните, что мы явимся как раз к обеду, а я уже с трудом выношу эти торжественные трапезы с генерал-фельдмаршалом во главе стола... Бог меня прости, офицеру не к лицу такие высказывания о прямом начальнике – но до чего мне становится неприятна эта двуличная лиса...

Адъютант дипломатично промолчал. Выключив зажигание, он осторожно свел машину с асфальта и затормозил на широкой обочине. Стало очень тихо, запахло пылью и луговыми травами. Шоссе проходило здесь по более открытому месту, лес остался позади; справа, за полотном железной дороги, пологими волнами уходила к югу холмистая равнина – луга, береговые перелески. День был солнечный, но ветреный, с бегущими облачками, и окраска холмов все время менялась, они то сумрачно темнели, то снова загорались яркой зеленью.

– Красивая земля, – задумчиво сказал Тресков, стоя на краю кювета. – Чертовски неухоженная, но красивая. Есть в ней какая-то... первозданность.

Шлабрендорф, тоже замороженный зрелищем непривычно бескрайнего простора, молча кивнул. Потом он повернул голову, долго смотрел вдоль шоссе.

– Хеннинг, вы, вероятно, в курсе – мои познания в военной истории довольно фрагментарны, – это ведь и есть дорога Наполеона?

– Она самая. Туда и обратно.

– А... Бо-ро-дино – где-то в этих краях? Впрочем, нет, это должно быть ближе к Москве...

– Да, это восточнее. Намного восточнее. В позапрошлом году я там был, в районе Можайска. Русскую оборону там взламывали панцер-гренадеры Руофа. Масса их полегло. А памятник восьмьсот двенадцатого года я даже сфотографировал.

– Теперь, надо полагать, построят еще один. Я слышал, у русских тоже были огромные потери, – добавил Шлабрендорф.

– Потери в обороне всегда меньше потерь в наступлении. Но главное, русские хоть знают, за что гибнут...

Полковник помолчал, потом сказал неожиданно:

– А Толстой все-таки прав.

– Толстой? – переспросил Шлабрендорф с удивлением. – В чем именно он прав?

– Я просто вспомнил его рассуждения о насморке Наполеона. Как вы считаете, Фабиан, этот наш детонатор – мог он изменить историю Германии?

– Еще как изменил бы.

– Тогда вот вам и ответ, почему не сработал: просто не пришло время.

– Хеннинг, вы и впрямь мистиком становитесь. Как будто начитались не Толстого, а Сведенборга.

– Я не шучу, Фабиан. Мне представляется все более справедливой мысль, что ход истории вообще зависит от нас лишь в самой ничтожной степени. Если то или иное историческое событие должно произойти – оно произойдет, кто бы и какими бы средствами ни пытался этому воспрепятствовать. Если, наоборот, время для какого-то перелома еще не настало, то вы ничем не приблизите этого момента – как бы ни старались. В такой ситуации все ваши усилия кончатся неизменным провалом, причем зачастую самым нелепым. Вроде самопроизвольной деактивации.

– Не знаю, насколько справедлива теория исторического предопределения, но ее опасность бесспорна.

– Опасность?

– Да, потому что она оправдывает бездействие. Точнее, она его предписывает. В самом деле – какой смысл что-то делать, если конечный результат от тебя не зависит...

Тресков покачал головой.

– Фабиан, вы чего-то недопонимаете. Вы ведь католик? Тогда совсем странно. Скажите-ка, разве крестьянин, засевая свое поле, уверен в урожае? Тогда ведь, по-вашему, тоже надо сказать – какой смысл сеять, если конечный результат зависит от града или засухи... Нет, человек обязан действовать. Обязан, независимо от того, увенчаются его действия успехом или не увенчаются. Шансы тут ровно один к одному – всегда либо «да», либо «нет». Смысл истории раскрывается только в ретроспективе, современнику он не виден. Человек действует наугад; когда его действие совпадает с требованием исторического момента, оно дает результат. Когда не совпадает – результат нулевой. Но не действовать вообще... – Он не договорил и пожал плечами.

– Выходит, истории угодно было сохранить Германии фюрера, – иронически сказал Шлабрендорф. – Знать бы только, с какой целью.

– Вот этого мы, боюсь, уже не узнаем. Потомкам будет виднее. Впрочем, кое-какие догадки у меня есть.

– Поделитесь, если не секрет.

– Какие же у меня от вас секреты. Видите ли, я часто думал – откуда он вообще взялся, этот чертов национал-социализм. Нет, я все знаю: страх перед революцией, финансовая поддержка со стороны промышленной олигархии и все такое. Но это, понимаете, на поверхности – а вот глубинный смысл? Должен же быть в истории какой-то смысл, вам не кажется? Иначе тогда надо действительно верить в случайность. Либо случайность, либо смысл – вот об этом Толстой и писал. Так вот, по поводу нацизма! Я, знаете ли, в конце концов пришел к выводу, что это попросту своего рода нагноение, духовный нарыв человечества. Или если не человечества, то уж, во всяком случае, нашей европейской цивилизации. Как вам такая гипотеза?

– Ну... что-то в ней есть, – согласился Шлабрендорф.

– Уверяю вас. Ведь что такое нарыв? Чертовски болезненная и неприятная штука, но – полезная. Полезная по конечным результатам, понимаете, поскольку выводит из организма накопившуюся дрянь. Но этот нарыв, чтобы организм окончательно очистился и выздоровел, должен созреть. А пока не созрел, ничего вы с ним не сделаете. Будет только хуже. Вам известно, что генерал Хаммерштейн собирался арестовать фюрера еще в сентябре тридцать девятого года?

– Помилуйте, Хеннинг, – лейтенант фон Шлабрендорф улыбнулся. – Я ведь сам рассказывал вам про встречу с Форбсом в отеле «Адлон». Именно об этом дурацком замысле я и должен был тогда проинформировать сэра Джорджа.

– Да, замысел был дурацкий. И не только потому, что строился на вздорном плане заманить фюрера в Кельн: почему, спрашивается, он должен был принять это предложение? Но дело не в этом. Предположим, Хаммерштейну удалось задуманное. Представляете, каким ореолом мученика это окружило бы память о Гитлере? В памяти народа он остался бы святым! Его запомнили бы как человека, который покончил с инфляцией и разрухой, дал работу миллионам немцев, раздвинул границы, наконец достиг молниеносной победы в Польше... Да что говорить о тридцать девятом годе! Если начистоту, Фабиан, я склонен думать, что большинство нашего народа и сейчас – даже сейчас, после Сталинграда! – верит фюреру и в конечном счете готово простить ему даже этот катастрофический Восточный поход. Если бы тогда, в марте, бомба сработала – смогли бы вы выступить перед страной и открыто сказать: «Это сделал я»? Нет, исключим страх перед гестапо; предположим, режим рухнул мгновенно и весь государственный аппарат распался, с этой стороны вам уже ничто не грозит. Признались бы вы в таком случае? Я, например, скажу честно: нет, не рискнул бы...

Разговаривая, они медленно шли по пыльной обочине, удаляясь от машины. Впереди, слева от шоссе, громоздилась за кюветом огромная ржавая глыба русского пятибашенного Т-35. Снаружи «сухопутный дредноут» выглядел целым, оружие было снято, люки распахнуты настежь. Из решетки вентиляторных жалюзи позади кормовых башен пророс бурьян – семена, видно, занесло туда вместе с пылью. Дойдя до брошенного танка, Тресков остановился и указал на него Шлабрендорфу:

– Стоит тут с августа сорок первого. Ключе тогда командовал еще Четвертой армией; мы ехали вместе, он увидел и приказал своему адъютанту сфотографировать. А потом говорит мне: «Вот символ большевистской России – колосс на глиняных ногах, неповоротливый гигант, оказавшийся не в состоянии себя защитить»... Я бы на его месте давно уже распорядился разрезать это и увезти. Как-никак полсотни тонн стали. А то ведь теперь этот «символ» начинает выглядеть весьма двусмысленно.

– Едва ли Ключе помнит, что говорил когда-то по этому поводу, – заметил Шлабрендорф. – Честно говоря, удивляюсь вашему терпению – работать с таким человеком...

– Игра стоит свеч. Все-таки – иметь на нашей стороне лишнего генерал-фельдмаршала... Беда, однако, в том, что Ключе – помимо всего прочего – еще и чертовски неустойчивый тип. Бывают такие женщины, знаете, которых легко сбить с толку. Вот и он тоже. Пока находится под одним влиянием – он такой, сменится влияние – и он тут же станет иным. Отсюда непред-

сказуемость поступков. Я чувствую себя при нем в роли часовщика: все время приходится подкручивать пружину. Вот стоило съездить в отпуск, приезжаю – сразу чувствую, что уже что-то не то, уже его кто-то успел обработать. Не исключено, что так и провиляет хвостом до самого конца...

Полковник повернул обратно к машине, Шлабрендорф еще раз задумчиво оглядел грозную заржавленную громаду мертвого танка и пошел следом.

– Я вот еще что хочу сказать, – продолжал Тресков. – Мы тогда, в марте, не учли одной очень важной детали. Сталинград многих отрезвил, это так, но у многих он породил и бешеную жажду реванша. Вспомните, какое было ликование, когда русских выбили обратно из Харькова. А когда Геббельс в Спортпаласте кричал: «Встань, Германия, отомсти за мертвых на Волге!» – вы же слышали этот иступленный рев толпы, эту нескончаемую бурю аплодисментов – поверьте, Фабиан, все это было искренне...

– Мы как раз говорили о заразительности эмоций.

– Нет, нет, не надо упрощать! Сейчас миллионы немцев ждут обещанного летнего наступления: страна привыкла к тому, что летом мы побеждаем. Теперь представьте себе, что именно весной – в марте – фюрер становится жертвой покушения. Как бы это выглядело? Снова «кинжал в спину» – как в восемнадцатом? В глазах рядового немца мы были бы людьми, укравшими у Германии победу...

– В глазах дураков и фанатиков мы всегда будем предателями, даже если нам удастся устранить фюрера лишь накануне краха.

– Да, но с каждым новым поражением число фанатиков и дураков сокращается.

– Увы, Хеннинг, дураки бесчисленны... Хотя в принципе я согласен: покушаться на верховного главнокомандующего в момент подготовки крупной наступательной операции – это неосторожно.

– Это политически самоубийственно. Трудно даже понять, как это никому тогда не пришло в голову. Вот теперь, если он в конце концов решится запустить «Цитадель» – и опять проиграет...

– Вообще странно, что мы так с этим тянем, – заметил Шлабрендорф. – Оперативный приказ поступил еще в апреле, сейчас середина июня... Правда, там было сказано «как только позволят условия погоды», но дороги давно высохли.

– Мы попросту боимся. Вы же знаете, насколько неустойчиво положение в Италии; пока там как-то не определится, начинать здесь опасно. А с другой стороны, каждый день промедления позволяет русским еще больше укрепиться, накопить еще больше сил. Они сейчас буквально накачивают Курский выступ своими войсками, а глубина обороны – это фантастика, по данным воздушной разведки там не меньше пятнадцати километров сплошной фортификации... Земляной, правда, но мы-то уже знаем, как они умеют ею пользоваться! Хейнрици при мне спорил по этому поводу с командующим, доказывал, что успеха между Орлом и Белгородом нам не добиться. Кончилось тем, что Клюге довольно грубо его оборвал.

– А сам Клюге, значит, уверен в успехе?

– Черт его знает, в чем он уверен...

Тресков постоял у машины, пощелкал пальцами по зачехленному штабному флажку на правом крыле и раскрыл дверцу. «Мерседес» накренился под его тяжестью, потом осел и на левую сторону – когда Шлабрендорф устроился за рулем.

– Черт его знает, – задумчиво повторил полковник. – Я же говорю – человек с двойным дном... Вчера вызывает меня и дает набросок телеграммы в генштаб... на имя Цейтцлера, с пометкой «доложить фюреру». Вот, говорит, не откажите в любезности составить текст по этим тезисам, потом дадите мне на подпись, но отправлять пока не будем. Телеграмма как раз по этому поводу, насчет «Цитадели». Ну, он там разбирает возможности, которые предоставляет сейчас противнику наше бездействие, затем сравнивает преимущества наступления и обороны

– и приходит к заключению, что, поскольку столкновение с главными силами противника неизбежно, лучшим решением будет действовать по плану «Цитадель». При этом, конечно, куча оговорок – операция возможна только при наличии таких-то и таких-то предпосылок и так далее. Я все это прочитал тут же при нем, кое-что мы уточнили, а потом – я уже собрался уходить – он меня задержал и говорит полушутливым тоном: «Вижу, полковник, наши мнения в данном случае расходятся». Я ответил, что уже имел честь доложить свои соображения касательно плана «Цитадель» и что оперативный отдел не располагает какими-либо новыми данными, которые заставили бы меня думать иначе. И вот тут он мне сказал любопытную вещь. Улыбнулся этой своей полуулыбочкой, поиграл моноклем и говорит этак вскользь: «Но согласитесь, мой милый полковник, надо же когда-то кончать со всем этим...»

– С чем именно? – спросил Шлабрендорф, забыв руку на ключе зажигания.

Тресков пожал плечами.

– Как вы понимаете, этого вопроса я ему задать не мог.

Шлабрендорф усмехнулся, запустил двигатель и медленно тронул машину с места.

– Да, Ключе есть Ключе, – пробормотал он через минуту. – А что, если он действительно верит в возможность покончить с русскими этим летом?

– Фабиан, можете думать про фельдмаршала что угодно, но не считайте его болваном, способным поверить в возможность «покончить с русскими». Ключе – образованный офицер, и он прекрасно знает военную историю Европы... не в пример вам, кстати, весьма смутно представляющему себе даже путь Великой армии.

– Я шпак, – скромно возразил Шлабрендорф. – И в юности зубрил римское право, а не вашу военную историю.

– Давно могли бы пополнить образование у себя в абвере. Так вот, слушайте: у русских есть свой – национальный, я бы сказал, – метод ведения войны, и придерживаются они его с неукоснительным постоянством. Всякий раз, когда Россия оказывается втянутой в большую европейскую войну, война застает их врасплох, неподготовленными, растерянными, плохо вооруженными. Это всегда период кризиса, когда, казалось бы, еще один толчок, и страна рухнет. Но из этого кризиса, Фабиан, русские всегда каким-то чудом выкарабкиваются. Они начинают медленно накапливать силы, равновесие постепенно восстанавливается, и в конце концов они вдруг оказываются несокрушимо сильными. Это всегда так. Я повторяю: всегда! Так было в семнадцатом веке с поляками, в восемнадцатом – со шведами, в девятнадцатом – с французами... ну, а в двадцатом – с нами, оба раза. Да, да, я имею в виду и ту войну, не удивляйтесь! Там позже вступили в игру совершенно иные факторы, но к концу шестнадцатого года наш Восточный фронт трещал уже по всем швам. Короче говоря, русские всегда начинают с поражений, но кончают победой. Заметьте, я не случайно сказал: в больших войнах! Малые локальные конфликты, вроде Севастополя или Порт-Артура, не в счет. Тут тоже есть определенная закономерность: русским, чтобы воевать хорошо, надо воевать всерьез. В большой войне на карту ставится жизнь нации, и нация всегда это понимает...

Проезжая мимо старого танка, Тресков повернул голову, проводил взглядом угрюмую громаду мертвого ржавого железа.

– Н-да, скоро они все свое получают обратно, – проговорил он, словно думая вслух. – Если мы не удержимся под Орлом...

– Так телеграмму Ключе еще не отправил?

– Пока – нет. Специально интересовался утром на узле связи. Выжидает чего-то...

Танк скрылся из вида, шоссе опять пошло под уклон. Навстречу показалась идущая со стороны Смоленска колонна грузовых машин. Шлабрендорф вопросительно глянул на Трескова:

– Может быть, стоит предупредить?

– Не надо. Там, скорее всего, какая-то незначительная банда, вряд ли они рискнут напасть на большую колонну. Если предупредить этих, я буду обязан сообщить о случившемся и в штабе. А какой смысл? Сожгут еще одну деревню, а партизаны все равно останутся...

– Послушайте, Хеннинг, – сказал Шлабрендорф, когда колонна осталась позади. – Мы с вами знакомы уже четыре года, и два года я служу под вашим началом...

– Неизвестно еще, кто под чьим, – буркнул Тресков. – Вы знаете, что такое «корнак»? В Индии так называют человека, который управляет слоном. Сидит у него на шее и бамбуковой тросточкой похлопывает по хоботу то справа, то слева... показывает, куда поворачивать.

– Вы льстите мне, господин полковник, – Шлабрендорф улыбнулся. – Может быть, вначале я и пытался раз-другой... похлопать вас по хоботу, как вы это называете...

– Интересно, черт побери, как это можно назвать иначе! Самая пикантная деталь, что пришли вы ко мне в звании унтер-офицера. И сразу сели на шею.

– Но очень скоро убедился, что это совершенно излишне, – вы и сами безошибочно находили верное направление. Позвольте, однако, закончить фразу, на которой вы меня перебили.

– Прошу прощения, господин лейтенант!

– Я вот о чем хотел спросить. Когда мы с вами познакомились накануне войны, вы сразу показали себя убежденным антинацистом. И меня заинтересовало – а почему, собственно, вы думаете так, а не иначе? Чем нацистский режим не устраивает лично вас? Политикой, насколько я понимаю, вы в то время не особенно интересовались, но если не политика, то что же еще? Как полководец Гитлер тогда еще себя не проявил, обвинять его в плохом руководстве войной было рано. Заметьте, кстати, что большинство сегодняшних оппозиционеров в среде высшего командования стали ими только потому, что разочаровались в Гитлере как в полководце. Окажись Восточный поход таким же успешным, как французская кампания, они и не помышляли бы ни о каком сопротивлении...

– К чему обобщать? Людвиг Бек стал противником режима задолго до войны, и не он один.

– Согласитесь, таких было не много.

– Вы знаете, – заговорил Тресков после паузы, – я и сам иногда задавал себе этот вопрос – почему... Хочу только внести уточнение: летом тридцать девятого года, когда мы познакомились... или, если уж быть совсем точными, когда вы получили от своего Остера задание со мной познакомиться...

– Хеннинг, – укоризненно сказал Шлабрендорф.

– Ну ладно, ладно, слон не такое уж глупое животное. Так вот, тогда я еще не был «убежденным антинацистом». Вы однажды сказали, что население Германии можно разделить на три категории: нацисты, ненацисты и антинацисты, причем самая отвратительная – вторая. В то время я принадлежал именно к ней. Нацисты мне не нравились, это был худший сорт городской черни, в сравнении с которой рабочие у меня в имении были аристократами. Но в то же время мне, как военному, не мог не импонировать взятый Гитлером курс на создание сильной, боеготовой армии. Версальский договор оставил Германию практически безоружной, мы все считали это положение ненормальным и несправедливым. Я вам скажу честно – первые три-четыре года у меня не было к режиму особо серьезных претензий... Тем более, что со штурмовиками они расправились сами, «ночь длинных ножей» мы по наивности восприняли как признак оздоровления общей обстановки. А вот после разбоя в Австрии, после отставки Бека – вот тут я задумался. А потом началась подготовка к нападению на Польшу – это уже было безумие, потому что означало мировую войну, а любой грамотный военный знал, что войны против Англии, Франции и Соединенных Штатов – даже имея в тылу нейтральную Россию – нам никогда не выиграть. Тут уже стало ясно, что фюрер ведет страну к гибели.

– Как ни странно, он действительно был уверен в невмешательстве Англии. Адмирал пытался уверить его в обратном, но мнение Риббентропа оказалось более весомым.

– Мы всегда предпочитаем верить тому, что нас больше устраивает... Ну, а что касается личных мотивов – пожалуй, активным антинацистом меня сделал тот пресловутый приказ о комиссарах. В сорок первом, вы помните. Как бы вам это объяснить... Вы понимаете, я тогда почувствовал себя лично обесчещенным. Армия, в которой могут издаваться подобные приказы, это уже не армия в моем понимании. Гельмут Штифф побывал в Польше в конце тридцать Девятого года, и, когда мы встретились, он сказал: «Мне стыдно быть немцем, этого позора нам не смыть во веки веков...» Черт побери, Тресковы двести лет поставляли Пруссии солдат, но палачей и преступников среди моих предков не было! А вот теперь мне приказом верховного главнокомандующего предписывалось совершать тягчайшее из военных преступлений: казнить без суда взятых в плен офицеров противника...

Тресков помолчал, потом заговорил снова:

– В восемнадцатом году я пришел с фронта безмозглым фенрихом, повоевать мне довелось всего несколько месяцев, и я был весь в обиде на судьбу, а еще больше – на политиканов, которые сговорились за спиной у фронтовиков и изменили любимому кайзеру. Когда начались бои со «спартаковцами», меня не надо было уговаривать – я тут же схватился за винтовку... Если я чего-то по-настоящему стыжусь в своей биографии, то это именно тех дней, когда я – мальчишка, сопляк – стрелял в своих соотечественников. И из-за чего, спрашивается, стрелял? Потому что мне сказали, что красные хотят ограбить дворянство, забрать землю у помещиков... Уже много позже я спросил себя: а чем, собственно, мне это грозило? Дворянину и раньше случалось терять землю, он мог разориться и продать поместье, мог проиграть его, мог в какой-нибудь междоусобице сделать ошибочный выбор и подпасть под конфискацию... Это превратности судьбы – сегодня так, завтра этак, но честь от этого не страдала, мало ли было благородных людей без гроша в кармане. Красные, победы они тогда, возможно, сделали бы меня нищим, а приказ о комиссарах лишал чести каждого немецкого офицера, который принял бы его к исполнению. Вот почему я еще в сорок первом году дал себе клятву убить мерзавца, обесчестившего германскую армию...

Увидев вдали шлагбаум и бараки контрольного поста, полковник замолчал, словно фельджандармы могли услышать его на таком расстоянии.

– Да, – сказал он немного погодя, – давно нам не удавалось побыть вдали от любопытных ушей. Жаль, что нельзя злоупотреблять такой возможностью – будет выглядеть подозрительно. Кстати, я давно хотел спросить, каким образом вы ухитряетесь записывать потом наши беседы для своего абверовского начальства. Должна быть чертовски натренированная память, э, Фабиан?

– Не жалуюсь, – скромно отозвался Шлабрендорф. – Впрочем, их ведь интересует самое существенное, так сказать квинтэссенция, это упрощает задачу...

Глава 5

Летом, на самые жаркие месяцы – июль, август, – Штольницы обычно снимали флигель у знакомого крестьянина в окрестностях Шандау, маленького курортного городка тридцатью километрами выше по течению Эльбы. Очутившись на лоне природы, фрау Ильзе с огромной энергией приступала к заготовке фруктов и овощей на зиму; они с Людмилой целыми днями что-то кипятили, пастеризовали, раскладывали по банкам. Профессор же воспринимал дачный сезон как неизбежное зло – работать ему здесь не работалось, книг не хватало; сколько бы он их ни привез с собой, всякий раз выяснялось, что именно самой-то нужной под рукою и нет. А главное, здесь не было радио.

Хозяин за дополнительную плату охотно предоставлял в пользование свой аппарат, но это был VE-301, так называемый «народный приемник», бравший только Берлин, Прагу, Вену и еще несколько местных радиостанций. Профессор тосковал – дома у него стоял в кабинете огромный четырнадцатилампный «Блаупункт-Олимпия», который свободно принимал и Лондон, и Стокгольм, и Касабланку. Конечно, использовать все возможности роскошного супергетеродина было рискованно – на лицевой панели давно уже красовалась яркая оранжевая карточка, напоминавшая о том, что «слушание иностранных передатчиков есть преступление против национальной безопасности нашего народа и по приказу фюрера карается тюрьмой». Монтер, прикрепивший карточку в сентябре тридцать девятого года, под расписку ознакомил супругов Штольниц с соответствующим правительственным постановлением; постановление профессор помнил, к виду оранжевой карточки привык, но против национальной безопасности преступал ежевечерне. И впадал в уныние, лишаясь этой возможности хотя бы на время.

Сочувствуя ему, Людмила спросила однажды, почему было не отправить приемник на лето в Шандау – крестьянин ведь все равно перевозит их вещи лошадьми, – но профессор испугался самой мысли. А если при перевозке повредится какая-нибудь лампа? Это была бы катастрофа, дочь моя, просто катастрофа – попробуй сейчас достать новую радиолампу!

Каждый вечер, когда наступало время передач из Лондона, профессор слонялся из угла в угол, не находя себе места. Иногда он думал, что информационный голод может быть не менее мучительным, чем иные разновидности этого ощущения. А уж что он более унизителен, это точно. Тебе хочется знать, что происходит в мире, но ты этого знать не можешь, потому что какой-то бонза там в Берлине решил своими тупыми свинячьими мозгами, что тебе этого знать не следует...

Профессор, подобно человеку, то и дело трогающему языком больной зуб, подходил к «народному приемнику», включал его и с полминуты, морщась от омерзения, вслушивался в оптимистичный голос диктора. Больше, чем на полминуты, терпения не хватало. Ах, негодяи! – понаштамповали этих пластмассовых коробок, навязывали их всем чуть ли не принудительно и теперь при всяком удобном случае не упускают напомнить, что Германия – это единственная в Европе страна, где радиоприемник имеется в каждой крестьянской семье, не говоря уж о населении городов. А голоса дикторов! Бог мой, откуда, из какой клоаки набрали они этих подонков, ежедневно простиитуирующих перед миллионами слушателей... Даже авторы передач и те менее омерзительны, те хоть творят не на виду, каждый прячется в своей злобной норе – диктор же выступает с подмостков, он играет, да еще с каким вдохновением! Прислушаться только, как умиленно размягчается его голос, как он медоточит, рассказывая о посещении детской больницы супругой рейхсминистра, и сколько в нем появляется гнева и ироничного презрения, едва речь заходит о ничтожной кучке пораженцев и внутренних врагов Великой Германии...

Промаявшись так несколько дней, профессор начинал изобретать предлог, чтобы улизнуть в Дрезден хотя бы на одну ночь. Предлог должен был выглядеть достаточно солидным, так как фрау Ильзе этих путешествий не одобряла по трем причинам: во-первых, большие города бомбят и никто не может поручиться, что этого в любой день не произойдет с Дрезденом; во-вторых, крайне нежелательно нарушать режим питания, особенно в таком возрасте; в-третьих, лишние расходы сейчас совершенно ни к чему. Два последних аргумента профессор игнорировал, а по поводу первого возражал обычно, что судьба есть судьба, вероятность же воздушной атаки на Дрезден совершенно смехотворна: культурная ценность «немецкой Флоренции» известна всему миру, уже одно это является лучшей гарантией от всяких бомбежек. «Рейхс-маршала Геринга, разумеется, подобное соображение не остановило бы, – добавлял профессор, – но наши противники, Ильзхен, люди несколько иного склада».

Фрау Ильзе в конце концов уступала, но с условием, что Людмила поедет вместе с профессором и позаботится о нормальном ужине и завтраке. Обоих это устраивало как нельзя больше: для Людмилы поездка означала возможность повидаться в лагере с землячками, а профессор любил поговорить и очень ценил присутствие хорошего слушателя Людмилу он относил к хорошим.

Ездили они обычно пароходом – от Дрездена до Шандау он тащился почти четыре часа, а обратный путь вниз по течению пробегал резвее, часа за два. Даже так это оказывалось вдвое дольше, чем пригородным поездом, но спешить было некуда, дни стояли на редкость погожие, а долина Эльбы в этой части «саксонской Швейцарии» отличалась особой живописностью. Сразу за Проссеном река изгибалась к югу, пароходик проплывал мимо старинной крепости Кенигштейн, а затем русло круто поворачивало обратно, образуя глубокую подкову Бастейской излучины; за каждым поворотом открывался новый вид, один красивее другого. Людмила, впрочем, уже как-то не воспринимала все это – здешние места, как и сам Дрезден, были перенасыщены красотой.

Дом на Остра-аллее находился почти в центре Старого города, буквально нашпигованного достопримечательностями и сокровищами искусства. Цвингер с картинной галереей, дворец-замок саксонских курфюрстов и королей, Брюлева терраса, собрание скульптур в Альбертинуме, старейшие церкви города Фрауэнкирхе и Кройцкирхе, множество памятников и статуй, бронза, мрамор, ренессанс и барокко – все это было скучено на пятачке размером не более одного квадратного километра. Людмила за каких-нибудь двадцать минут могла не спеша пройти от Театральной площади до ратуши на Фридрихсринге или от моста Каролы до Герцогингартена, рядом с которым жили Штольницы. Она никогда не призналась бы в этом профессору, но ей начинало казаться, что переизбыток красоты дает иногда обратный эффект.

Сегодня они тоже решили отправиться водным путем. Пассажиров на пароходике «Мейсен» было почему-то больше обычного, и уединиться не удалось; профессор, собиравшийся всласть обсудить положение на Восточном фронте, сидел теперь молча, иногда сердито пофыркивая, и время от времени принимался выстукивать на палубе раздраженную дробь концом трости. Дома ему тоже не всегда удавалось отвести душу, днем Людмила обычно бывала занята, а что касается застольных разговоров, то тут фрау Ильзе была непоколебима: серьезные темы, считала она, за едой обсуждать не принято. Она, разумеется, не стала бы вмешиваться и прерывать, но молчаливое неодобрение жены отравляло профессору все удовольствие. В такие минуты его посещала иногда крамольная мысль, что хорошо бы его спутница жизни была женщиной более широких взглядов и не так твердо знала, что принято и что не принято...

Людмила тоже сидела молча. Пароход только что прошел Ратен, впереди наплывал, медленно вырастая, скалистый массив Бастей – исполинские песчаниковые столбы, воткнутые сверху в поросшую густым лесом крутизну правого берега. Людмила смотрела на багряно оза-ренные предвечерним солнцем вершины утесов и вспоминала степь. Как ей не хватало здесь этого ковыльного, овейного ветром простора! – здесь, где вообще нет далей, где все кажется

близким... Это, вероятно, самообман, вершины некоторых гор тоже видны очень издалека, но все равно – горный ландшафт смотрится совсем иначе, простора в нем нет. В степи Людмила бывала не так часто, всего раза два-три, чаще она видела степь из окна вагона; да и то, много ли довелось ей поездить в сознательном возрасте? Один раз в Крым, потом на Кавказ, а в последнее предвоенное лето – в Ленинград. По-настоящему же она бывала в степи, только когда гостила у няни, Трофимовны, и потом летом сорок первого – на окопах. А впечатление осталось настолько яркое и сильное, как будто она всю жизнь прожила на степном хуторе... Как же должны были ощущать степь ее предки, вообще не знавшие ничего другого! Может быть, от них и перешла к ней, горожанке, эта необъяснимая тяга к диким просторам?

– Да, да, – пробормотал сидящий рядом профессор, – любопытно, что мы сегодня узнаем... чрезвычайно любопытно. Там явно что-то происходит. Ты заметила вообще, как изменился тон, гм... ну, ты сама понимаешь, я имею в виду весь этот оркестр.

– Изменился? – рассеянно переспросила Людмила.

– Разумеется! Переходит, я бы сказал, в иной ключ. Нет, понимаешь ли, бывшего мажора. Вместо недавнего, гм... брио фуриозо – иначе не определишь – все чаще слышится этакое лангвидо sostenuto...

– Господин профессор, – негромко, укоризненно сказала Людмила, указывая глазами на соседей. Она не очень точно поняла смысл музыкальной терминологии, но ехидный тон Штольница был достаточно выразителен.

– Ладно, ладно, – отмахнулся тот и еще энергичнее застучал тростью. Через минуту он опять не выдержал и, не оборачиваясь к Людмиле, объявил:

– Кстати об Италии! Там, по-моему, тоже совершенно разучились играть. Невыносимо фальшивят, дочь моя. Не удивлюсь, если не сегодня-завтра появится новый дирижер...

Это уж было слишком. Людмила встала, отошла к борту и облокотилась на поручни. Внизу, разбрасывая пену и брызги, с завораживающей размеренностью одна за другой уходили под воду широкие лопасти гребного колеса, нескончаемой чередой выбегали из-под белого кожуха и скрывались в кипящей воде.

В Пирне большинство пассажиров сошло на берег, палуба наконец опустела. Людмила, вернувшись на свое место, строго сказала:

– Вы стали совершенно невозможны, господин профессор. Кончится тем, что я нажалуюсь фрау Ильзе и она вообще никуда не будет вас отпускать... без своего присмотра.

– Вы обе взяли себе слишком много воли, вот что я тебе скажу.

– Если бы дать волю вам, вас бы вообще давно уже посадили. Затевать такие разговоры при посторонних! Вы думаете, никому не понятны ваши намеки?

– Помилуй, я же видел, кто сидит рядом. Это деревенская публика, они вообще не прислушиваются к чужим разговорам. А хотя бы и прислушались? Если ты думаешь, дочь моя, что простой саксонский мужик разбирается в итальянских музыкальных терминах, то ты слишком высокого мнения о нашей Германии, да, да! То, что они ездят на велосипедах и проводят у себя в коровниках электричество, еще ни о чем не говорит.

– Я знаю, но...

– Это еще не культура. Это лишь внешние – самые поверхностные – приметы цивилизации. Никогда не путай этих двух понятий! В Индии, скажем, половина населения не только не умеет пользоваться электричеством, но и не видела простого водопровода. Но какая там высокая духовная культура! И обратный пример – те же американцы...

– Да знаю я, – повторила Людмила, – но вы не учитываете другого. Среди этих людей всегда может оказаться кто-то, кто вас поймет. И если этот «кто-то» решит донести, то вы пропали. К чему так рисковать – можно ведь поговорить дома...

– Ничего, ничего, – профессор успокаивающе похлопал ее по руке. – К жизни, дочь моя, следует относиться с большим доверием.

– При чем тут доверие к жизни! Вот наткнетесь на гестаповского шпика, тогда узнаете.

– Ну, этих прохвостов видно издалека, – снисходительно возразил профессор. Он достал часы, отщелкнул крышку. – Однако сегодня мы скорее обычного... вон уже и Пильниц виден. Насколько все же приятнее плыть по реке, не правда ли, нежели целый час давиться в переполненном вагоне... Нравятся тебе эти места?

– Да, очень красиво. – Людмила помолчала, провожая взглядом обгоняющий их по левому берегу пригородный поезд. – Господин профессор, я давно хотела спросить... Есть одно стихотворение, кажется Гете, я его знаю в русском переводе – это про Наполеона...

– Подскажи начало, я вспомню.

– Но я ведь не читала оригинала. Это такое фантастическое стихотворение, там описывается, как в полночь к острову Святой Елены пристаёт корабль без команды, и Наполеон встает из гроба и поднимается на палубу, и корабль несет его во Францию...

– А! Какой же это Гете, дочь моя, опомнись. Это Цедлиц, Йозеф Кристиан Цедлиц. Австриец. Баллада, которую ты имеешь в виду, называется «Корабль привидений».

– Правда? По-русски это переведено как «Воздушный корабль». Так вот, там есть строчка, где говорится о солдатах Наполеона, которые спят в долине Эльбы; разве здесь происходили тогда сражения?

– Помилуй, а битва под Дрезденом в тысяча восемьсот тринадцатом?

– Ах да, – неуверенно сказала Людмила. – Но я почему-то считала, что она происходила где-то под Лейпцигом...

Профессор так и подскочил.

– Да ты что, извести меня сегодня решила! – он даже тростью пристукнул от негодования. – То она путает Гете с каким-то второразрядным сочинителем, то она валит в одну кучу два совершенно разных события: лейпцигскую Битву народов, позволившую окончательно изгнать французов из Германии, – и битву под Дрезденом, которая, во-первых, произошла двумя месяцами раньше, а во-вторых, закончилась – в отличие от другой! – победой Наполеона...

– Я ведь не историк, – сказала Людмила, сдерживая улыбку.

– Ты вообще никто! Воображаю, чем ты занималась на уроках, – он посмотрел на нее уничтожающе, потом смягчился: – В твоём возрасте, впрочем, все люди суть невежды. Ты еще выделяешься в лучшую сторону – кое-какие знания у тебя есть, это я признаю.

– Попробовали бы не признать! Я вот знаю немецкую поэзию, хотя и в переводах и могу спутать авторов, а вы, господин профессор, русской поэзии не знаете.

– Да, да, – согласился он рассеянно. – Что ты сказала? Поэзии? Видишь ли, дочь моя, ваша поэзия не имеет всемирного звучания. В отличие от прозы. Я сам не очень хорошо понимаю, чем это объясняется; следовало бы поговорить с толковым литературоведом-славистом. Но это, увы, так. Насколько колоссальное влияние оказала на мировую литературу русская проза девятнадцатого века, настолько незамеченной прошла поэзия.

– Вы думаете? – задумчиво переспросила Людмила.

– Да, я думаю! Я, видишь ли, вообще имею привычку сперва подумать, а потом сказать. Вас, конечно, это удивляет – и тебя и Ильзе. Та тоже – если я подхожу к барометру и говорю: «Давление сильно упало, будет дождь» – так она непременно спросит: «Ты думаешь?»

– Ну, это ведь просто так говорится. Я хотела сказать – насчет поэзии, вы уверены, что незамеченной?

– Я ее влияния не замечал. Мне известна речь Достоевского, посвященная Пушкину; он, боюсь, все же преувеличивает его общечеловеческое значение. Заметим, что эта ошибка часто допускается литературоведами – по поводу многих других авторов. Тут, понимаешь ли, существует такая загадочная закономерность: это самое «общечеловеческое значение», как ни странно, далеко не всегда соответствует степени популярности данного автора у него на

родине. Иногда соответствие налицо – тот же Достоевский, скажем, или Шекспир, или Данте. Зато Байрона, насколько мне известно, в Англии не очень любят и даже не очень знают; между тем ему в свое время подражали сотни поэтов в Германии, в России. А вот Пушкин как раз случай обратный: здесь его не знает никто, кроме славистов, для русских же он – кумир...

Людмила была рада, что профессора удалось отвлечь от более актуальной темы. Сейчас рядом с ними никого не было, но он имел привычку говорить довольно громко, их могли и услышать снизу, и кто-то мог подойти и остановиться за рубкой – а голоса над водой разносятся далеко, она имела возможность в этом убедиться. Штольниц действительно становился неосторожен. Между тем именно теперь, когда Германия начала терпеть военные неудачи, власти должны были особо пристально следить за настроениями в тылу и вылавливать всякого рода «пораженцев».

Я ведь тоже не лучше профессора, подумала вдруг Людмила, вспомнив о своем дневнике. Да, с этой детской забавой пора кончать. Дневник она вела еще дома, но те тетрадки там и остались, а по пути сюда, в Перемышльском пересыльном лагере, один поляк подарил ей толстую чистую книжечку, найденную, видимо, где-то в развалинах. Книжечка была такой соблазнительной, что Людмила не удержалась – стала записывать сначала маршрут своих мытарств по Германии, потом кое-какие наблюдения. Дневник удавалось прятать, да немцы и не обращали внимания на такие вещи – не снисходили. Многие девчата в эшелоне и в пересыльном лагере писали письма домой. Писали, просто чтобы излить душу, не рассчитывая на получение их родными. Немцы не возражали, иной даже и пальцем потычет поощрительно: «Шрайбен, йа, йа, гут шрайбен!»

В Дрездене, где у нее была своя отдельная комната, Людмила стала писать уже всерьез – и совершенно откровенно. Это было глупо. «Сожгу, – твердо решила Людмила. – Как только приедем домой, достану и сожгу».

“Мейсен” прошел уже под висячим мостом и приближался к мосту Альберта – первому из четырех, соединяющих Старый город с Новым на правом берегу. Миновали и этот; за мостом Каролы монотонный плеск гребных лопастей оборвался, пароход бесшумно сносило влево, к дебаркадерам у Брюлевой террасы.

– Кстати о наполеоновских войнах и о твоих земляках, – сказал профессор, указывая тростью, – это построил русский губернатор города, князь Репнин, в тысяча восемьсот сорок четырем.

– Террасу?

– Боже милосердный, нет, разумеется, террасу построил канцлер Брюль, и на сотню лет раньше. Я говорю о лестнице!

– А, – сказала Людмила. Лестница, спускающаяся от террасы к Хофкирхе, была широкая, красивая, украшена по углам четырьмя бронзовыми группами. Молодец князь Репнин, подумала Людмила, интересно – тот ли это, что отказался надеть машкеру. В смысле – прямой ли потомок. «И пал, жезлом пронзенный, Репнин, правдивый князь...»

– Вы прямо домой? – спросила она. – Фрау Ильзе просила меня кое-что купить, я тогда зайду, пока не закрылись магазины...

– Ну, раз просила, – отозвался профессор недовольным тоном. – У Ильзе просто мания таскаться по лавкам самой или посылать других. Как будто сейчас можно и в самом деле что-то купить!

У памятника королю Альберту перед зданием Ландтага они расстались, Людмила свернула за угол в узкую Аугустустрассе, а профессор, постукивая тростью, направился к проходу между замком и Хофкирхе. У Георгиевских ворот он оглянулся – девушка неторопливо брела по тротуару, разглядывая на ходу громадный керамический фриз «Шествие князей» на противоположной стороне улицы. Интересно все-таки, подумал он, как она в конечном счете все это воспринимает – город, его историю... да и тех, кто в нем живет сегодня. Включая его

самого с Ильзе. Ну, на них-то, надо надеяться, ей особенно обижаться не за что... разве что постольку, поскольку они тоже немцы – такие же, как и те, что вломились к ней в дом, разрушили ее жизнь, разлучили с близкими. Да, не так все просто. Людхен хорошая собеседница, но слушает она больше, нежели говорит; объясняется это, скорее всего, ограниченностью словарного запаса, вполне достаточного для обычного повседневного общения, но не для серьезных разговоров на отвлеченные темы. А что, если дело тут в простой вежливости? Девочка отмалчивается потому, что слишком хорошо воспитана, чтобы не высказывать вслух того, что о нас думает. О нас – немцах вообще...

Он снова поймал себя на том, что представляет ее своей выросшей дочерью, Мари, временами почти их путает – как если бы они были ровесницами, сестрами-близнецами. Но Мари ведь гораздо старше, сейчас она была бы уже тридцатилетней женщиной... да, тридцать один год был бы ей сейчас. Ровно тридцать один. А иногда ему казалось, что Людхен чем-то похожа на Анну – на ту, оставшуюся в невообразимых далях юности, – не чертами лица, нет, чем-то неуловимым в глазах, в улыбке. Вот с нею они и в самом деле ровесницы – эта в тысяча девятьсот сорок третьем и та в тысяча девятьсот десятом. В десятом они поженились, через два года он стал отцом, еще через два ушел на войну. А еще четырьмя годами позже потерял разом обеих.

Да, как ни странно, именно он – их, а не они – его. Хотя логичнее было бы обратное. Он прошел все – Марну, Сомму, Верден – и уцелел, а их скосил грипп. Инфлюэнца, как тогда говорили. Та самая инфлюэнца, чудовищная пандемия которой в последний год войны прошлась по Европе не хуже средневековой «черной смерти». Он лежал в лазарете после третьего ранения; когда ему сообщили – было такое чувство, будто погасла вселенная и не стало ни света, ни воздуха. Исчез единственный маячок, все те четыре адских года мерцавший ему сквозь мрак, безумие и отчаяние. Он попытался покончить с собой, а спустя пять месяцев – перед выпиской и демобилизацией – сделал предложение сиделке, которая его выхаживала. По степени обдуманности это, вероятно, мало чем отличалось от дурацкой и неумелой попытки наложить на себя руки, но позднее жизнь подтвердила правильность странного решения – единственно правильного, наверное, в тот момент.

Да, Ильзе стала ему хорошей женой. Того, что давала Анна, дать не могла (да и не пыталась – не каждая ведь подходит на роль Эгерии), но она подарила ему другое: покой и упорядоченность, без которых, наверное, он не смог бы вернуться к нормальной жизни. Не умея вдохновить, как умела ее предшественница, Ильзе терпеливо и незаметно устраняла вокруг него все, что могло помешать или отвлечь. И произошло чудо: за неполных пять лет он дописал лучшую, пожалуй, свою работу – начатую еще до войны монографию о Доменико Гирландайо.

Он никогда не забывал, кому был этим обязан. И никогда не переставал вспоминать Анну, хотя могилу первой жены и дочери (они умерли во Фридрихштадтской больнице и были похоронены там же рядом, на старом католическом кладбище) посещал раз в год, в День поминовения. Ильзе бывала там чаще, а его поначалу то и дело упрекала в черствости; ей было не понять – память его не нуждалась в том, чтобы оживлять ее прикосновением к надгробному камню. То, что давно истлело под этим камнем, было уже настолько не связано для него с образами жены и дочери, что сама мысль об отождествлении казалась кощунством. Он помнил их живыми, и живыми они для него оставались, Анна постоянно присутствовала где-то рядом. Может быть, и не совсем уже такая, какою была в действительности; она постепенно превратилась в некий идеализированный образ, воплощение юности и всего того, что так сразу и непоправимо рухнуло в августе четырнадцатого – не для него только, для всего его поколения... Ее утонченность, безупречный художественный вкус, удивительное понимание музыки – все это, вопреки очевидности, мало-помалу начинало представляться ему исчезающими ныне качествами, свойственными лишь людям иной, погибшей эпохи. Он знал, что это не так, в его кругу не было недостатка в мужчинах и женщинах глубокой культуры, да ведь и сама Ильзе

(несмотря на всю ее трезвую померанскую практичность) могла подчас очень тонко понимать и чувствовать некоторые вещи; и все же Анна оставалась Анной, ни в ком не повторенной и ни с кем не сравнимой. Лишь изредка – вспышкой, отблеском далекой зарницы – просверкивало вдруг в ком-нибудь мгновенное, едва уловимое сходство-напоминание. Так случилось и в тот день прошлой зимой, когда он пришел в трудовое управление по поводу своей заявки на «восточную помощницу».

Заявка эта стоила им немалых сомнений. Осенью сорок первого года Ильзе получила официальное уведомление, что, как мать офицера-фронтовика, имеет право на использование в своем домашнем хозяйстве иностранной рабочей силы в количестве одной единицы женского пола. Первой их реакцией было, естественно, возмущение, но позже пришла другая мысль: что можно воспользоваться случаем и попытаться помочь хотя бы одной из тех несчастных, которых все чаще привозят в Дрезден, словно невольниц в средние века. «Давай попробуем, – решила наконец Ильзе, – как бы ей ни показалось у нас, все-таки это будет для нее лучше, согласись, чем попасть к какому-нибудь Гешке...» Мысль о зловредном блокляйтере убедила профессора, и он в тот же день позвонил приятелю, имеющему полезные связи в трудовом управлении. Через месяц ему сообщили, что с последней партией украинских работниц доставлена девушка, вроде бы неплохо говорящая по-немецки; если господин профессор не передумал, то пусть зайдет, посмотрит.

Вид девушки с Украины ошеломил его в первый же момент какой-то кричащей несочетаемостью отдельных деталей ее облика, их несоответствия целому. Одета в нечто неопишемое, она держалась с достоинством, почти с вызовом – явно напускным и не очень ей удающимся, так была испугана и подавлена (хотя старалась этого не показать). Среди украинок, которых ему случалось видеть раньше, было немало хорошеньких, но к этой слово «хорошенькая» не подходило – ее лицо поражало даже в этом рубище, оно сразу напомнило ему один портрет во флорентийской Уффици. Особенно когда она, слушая его, машинальным жестом стянула с головы безобразную косынку. Волосы ее были уложены небрежным венцом из кос, почти как у той, только мона Лукреция была рыжеватой светлой шатенкой, а эта – темноволосой, и, как только он отметил про себя это различие, ему сразу же просверкнуло: она походит не только на ту, что четыреста лет назад позировала перед маэстро Бронзино. Непонятно даже, чем походит – цветом ли волос (Анна, родом из Южной Франконии, тоже была почти брюнеткой) или тем главным, неуловимым – в выражении глаз, в складке губ... Некоторые при первом знакомстве находили Анну чуть высокомерной, хотя он-то знал, что это скорее от застенчивости, высокомерия в ней не было. Сходство мелькнуло и исчезло, но и позже он снова поймал себя на том, что почти любит прекрасным лицом иностранки – как любовался когда-то Анной, как мог бы любоваться лицом Мари, которая, наверное, выросла бы похожей на мать...

Боже мой, подумал Штольниц, идя через площадь к арке картинной галереи, будь это иное время, иная эпоха – что мешало бы ей остаться здесь после войны? Мать, вероятнее всего, так и не найдется, пропала где-нибудь в эвакуации, других родственников у девочки, кажется, не осталось... Здесь – когда будет покончено с этим нынешним свинушником – он мог бы дать ей великолепное образование, предложить любой из лучших университетов Европы. И была бы у него дочь, которой можно гордиться, – не то что пустоголовый поганец Эгон.

Профессор прошел под аркой, мимо запертого входа в галерею (картины, говорят, хранятся где-то в совершенно безобразных условиях, чуть ли не в шахте!), пересек пустынный, наискось разлинеенный длинными предзакатными тенями парадный двор Цвингера и, выйдя через Коронные ворота, свернул направо, привычно избегая смотреть вдаль – чтобы не увидеть безобразно замыкающего перспективу Остра-аллее псевдотурецкого купола и труб-минаретов сигаретной фабрики. Впрочем, переходя улицу перед своим домом, все-таки не удержался, глянул – как трогают языком больной зуб. Неизвестно зачем, просто так. Чтобы еще раз удостовериться, что ноет.

Когда Людмила вернулась после безрезультатного хождения по магазинам (нужного фрау Ильзе вязального крючка не нашлось ни в одном), профессор уже сидел в кабинете у приемника – подрывал национальную безопасность. Людмила занялась приготовлением ужина. К столу Штольниц вышел с очень довольным видом, потирая руки.

– Ну, что я тебе говорил? Этот идиот дуче, кажется, свое уже отыграл... – Он сел, развернул салфетку. – Корреспонденты нейтральных газет в Риме сообщают о весьма серьезных разногласиях в фашистском руководстве, с одной стороны, и между королем и Муссолини – с другой... Благодарю, мне хватит! Да, а в финском парламенте, можешь себе представить, депутаты уже открыто требуют заключить сепаратный мир. Ты понимаешь, что это значит? Дело идет к концу, да, да...

Людмила чуть было не спросила «Вы думаете?» – но вовремя удержалась.

Профессор вообще обладал склонностью к неоправданной (как обычно оказывалось позднее) восторженности в оценках некоторых английских сообщений, но на сей раз энтузиазм его был, пожалуй, и в самом деле оправдан. С летним наступлением этого года гитлеровское командование связывало какие-то особые надежды – об этом можно было догадаться хотя бы по тону радио и газет, которые с первого же дня битвы под Курском заговорили о коренном переломе в ходе войны. А еще раньше сколько было заверений и обещаний – начиная с весны, с мартовской речи Геббельса в Спортпаласте! И чем же все это кончилось? Такой новостью надо поделиться с девочками, подумала Людмила.

– Я, наверное, схожу сегодня в лагерь, – сказала она.

– А в будний день тебя пустят? Сходи завтра с утра, в Шандау тогда вернемся послеобеденным поездом.

– Их почти каждое воскресенье заставляют работать, по крайней мере до обеда. Лучше уж попытаюсь сегодня, может быть пустят...

Подав профессору его «кофе» – жуткую ячменно-желудевую бурду, но зато в золоченой чашечке столетнего мейсенского фарфора, – Людмила принесла из кабинета блокнот и маленькую, размером с ручные часики, плоскую серебряную коробочку с печатью.

– Не забудь только надеть этот свой идиотский знак, – сказал Штольниц, развинтив вечное перо. – В какой лагерь писать?

– «Миктен», – подсказала Людмила. – «Миктен-II», так это именуется официально. Тире и римская двойка.

– «Отпускное... свидетельство... – бурчал профессор, покрывая листок острой готической фрактурой. – Настоящим удостоверяю... что занятая в моем домашнем хозяйстве... восточная работница такая-то... отпущена мною до...» Надолго тебе?

– Часов до девяти, наверное, позже все равно выгонят.

– «До двадцати одного часа... на предмет посещения двоюродной сестры... в рабочем лагере «Миктен-II». Бог мой, и это – двадцатое столетие! Имя сестрички указывать не надо?

– Нет, до сих пор ни разу не спрашивали...

Подписав свидетельство, Штольниц развинтил плоскую коробочку, выколупнул оттуда серебряный кружок с припаянной в центре петелькой и, подышав на обратную сторону, оттиснул печать рядом с подписью.

– Держи, восточная работница, – он вырвал листок, помахал им, просушивая чернила, и протянул Людмиле. – Но ты уверена, что эти визиты в лагерь не опасны?

– Нет, конечно. А даже если бы?

– И это верно. В случае чего, пусть звонят сюда – мало ли, вдруг какой-нибудь усердный болван найдет, что написано не по форме.

– Что вы, господин профессор, с такой печатью и таким грифом! Я, кстати, давно хотела спросить: у нас личные печати бывали только у врачей, а вы – зачем вам такая?

– Помилуй, как это «зачем»! Мне в свое время приходилось составлять очень важные документы – экспертные акты, свидетельства аутентичности и тому подобное, простой подписи в таких случаях недостаточно. Особенно, если бумаги посылаются за границу. Да, а теперь вот приходится подписывать подобную пакость. Что делать, *tempora mutantur* – прости, я хочу сказать – времена меняются...

– Это даже я поняла, – улыбнулась Людмила, складывая листок.

Среди дрезденских «остарбайтеров» лагерь «Миктен-II» слыл одним из немногих, где условия были относительно сносными. Было два типа рабочих лагерей: заводские, расположенные как правило на территории самого предприятия, где люди жили в бараках прямо рядом с цехами и месяцами не выходили «на волю», и – в меньшем числе – так называемые резервные, по мере надобности направлявшие рабочую силу то на один, то на другой объект. Заводские лагеря мало чем отличались от концентрационных, жизнь в резервных была несколько свободнее.

«Миктен-II» был резервным лагерем. Людей оттуда посылали работать то туда, то сюда, иногда большими командами, иногда по два-три человека. Поскольку конвоирование таких мелких групп до места работы и обратно было практически неосуществимо (конвоиров не напасешься), большинство миктенцев ходило на работу и с работы без надзора. Вечером, по дороге в лагерь, это давало возможность подработать на стороне: отвезти тяжелую кладь на ручной тележке, ссыпать в подвал уголь, вымыть тротуар перед домом. Жительницы Дрездена охотно пользовались услугами случайных помощников – редко в какой семье оставался трудоспособный мужчина, а расплачивались обычно хлебом или талонами на хлеб. Так что и с питанием в резервных лагерях было получше.

Охранялся «Миктен-II» стариками-полицейскими, вероятно польстившимися на эту работу ради приработка к пенсии или, скорее всего, в расчете на дополнительный паек от лагерьной кухни. Обряженные в ярко-зеленую допотопную униформу времен Саксонского королевства, ветераны ревностно несли службу, усугубляя обычную немецкую пунктуальность мелочной стариковской въедливостью и тщетными потугами доказать, что и они еще на что-то годны.

Сегодня, как нарочно, на проходной дежурил один из самых въедливых. Иные впускали посетителей беспрепятственно, требуя пропуск лишь на выходе, этот же остановил Людмилу грозным «хальт!» и стал проявлять служебное рвение. Сперва он оглядел ее с головы до ног на предмет обнаружения чего-либо противоречащего правилам, но ничего такого не обнаружил – правила Людмила и сама знала не хуже его. Идя в лагерь, она всегда одевалась так, как положено быть одетой «восточной работнице»: обувь хоть и старая, но хорошо вычищенная, казенные бумажные чулки, казенное же синюшно-серое бесформенное платье с пришитым на груди квадратом опознавательного знака «OST» и головная косынка того же арестантского цвета. Все это обмундирование фрау Штольниц получила для своей прислуги еще прошлой весной, хотела употребить на тряпки, но Людмила вовремя сообразила, что делать этого нельзя: ведь только в таком виде могла она общаться с соотечественницами.

Не обнаружив нарушений, вредный старичок сердито потребовал пропуск и вздел на нос никелированные очки с треснувшим стеклышком. Документ явно произвел впечатление – на то он и был рассчитан, не зря Штольниц пользовался для этих okazji найденным в письменном столе старым служебным блокнотом, где вверху каждого листка были пропечатаны все его бывшие должности и звания – «советник магистрата, руководитель кафедры истории искусств Академии художеств, *doctor honoris causa* Болонского университета». То, что досточтимый доктор давно уже вылетел и с кафедры, и из магистрата, было известно в Дрездене сравнительно узкому кругу лиц; простые шупо³, во всяком случае, наверняка об этом не знали. Не знал

³ Полицейские; сокр. от «Schutzpolizei» (нем.) – охранный полиция.

и ветеран – вдумчиво прочитав все напечатанное и написанное на листке бумаги отличного довоенного качества, он покивал с уважительной миной и вернул его Людмиле.

– Как звать твою родственницу?

– Демченко, – назвала она первую пришедшую на ум фамилию. – Это в седьмой комнате, господин обервахмейстер.

– Ну хорошо, ступай, – разрешил тот, польщенный неожиданным повышением в чинах. – Но не задерживайся здесь! Ты живешь на Остра-аллее?

– Так точно, недалеко от Цвингера.

– О да, Цвингер! – вредный старичок поднял палец с многозначительным видом. – Теперь ты понимаешь свое счастье? Из диких степей Востока тебя привезли в этот прекрасный культурный город совершенно бесплатно, мало того – тебя поселили рядом с чудом, на которое до войны люди приезжали посмотреть из многих стран Европы, а также Америки, затрачивая на такую поездку большие деньги! Но я хочу сказать вот что: отсюда до Остра-аллее не так далеко, однако ты должна выйти заранее, дабы не опоздать. Здесь написано, что твой господин отпустил тебя до девяти часов, это означает, что без пяти девять ты уже должна быть дома! Тебя строго накажут, если ты будешь обнаружена на улице позже указанного срока.

– Я вернусь вовремя, господин обервахмейстер, – заверила Людмила.

В старом кирпичном здании, реквизированном под лагерь, раньше размещалась, вероятно, какая-то небольшая фабричка – со складскими помещениями внизу и производственными на втором этаже, где с потолка, подпертого железными колоннами, еще свисали кронштейны трансмиссионных валов. Между колоннами устроили перегородки из прессованного картона, поделив зал на отдельные комнаты, или, на лагерном жаргоне, «штубы» – несколько мужских, несколько женских, две семейные. В седьмой штубе жило трое девушек из Людмилиного эшелона.

Когда она вошла, лагерницы только что кончили ужинать – возле двери стояло пустое ведро из-под баланды, и дежурная штубовая складывала в него коричневые эмалированные миски, чтобы нести мыть вниз, на кухню.

– Глянь, кто пришел, девчата! – крикнула рыжая Наталка. – Люська собственной персоной – явилась не запылилась. Чего это тебя давно не было?

– Не отпускали, – ответила Людмила. – Здравствуйте, девочки. Ну, как вы тут?

– А ничего! Живем – хлеб жуем. Когда дадут. Опоздала ты вот, а то повечеряла бы с нами – забыла небось, какая она на вкус, лагерная гемюза?

– Ну да, забыла, – вмешалась Аня Левчук. – Ты думаешь, в прислугах нашу сестру варениками кормят со сметаной? Я вон прошлый год у немки всю зиму проишачила, спасибо. Лучше уж в лагере гемюза да триста грамм хлеба, чем ихние объедки.

– Не, у Люськи хозяева вроде ничего, – возразила Наталка.

– А! Все они «ничего», пока вожжа под хвост не попадет. Моя, бывало, тоже поначалу все – «Анни, Анни»... А жадная, гад, ну не поверите – за корку готова удавиться. Слышь, Люсь, а твой профессор – он по какой части?

– Профессор кислых щей, – подсказал кто-то.

– Историк, – поправила Людмила. – А что?

– Да нет, ничего. Я думала, может врач.

– Ты что-нибудь хотела спросить? А у вас здесь разве нет врача?

– Не, это я так. Врач! Какой тут врач? Медпункт, считается, есть – приходит там раз в месяц один полудурок, у него аспирина не допросишься... Ну, пошли к нам, посидим.

«К нам» означало дальний угол комнаты, где три двухъярусные койки, занавешенные бумажной мешковиной, образовали что-то вроде отдельного купе. Там жили Людмилины землячки и еще одна девушка из Умани, которая тоже ехала с ними в одном эшелоне. Они были старожилками седьмой штубы – остальные ее обитательницы, всего человек двадцать, посто-

янно менялись. Поэтому вести за общим столом слишком откровенные разговоры (о лондонских передачах, например) Людмила обычно избегала. Мало ли кто может оказаться!

Быть осторожной приходилось, впрочем, даже с землячками – не потому, что Людмила считала их способными донести, а просто на всякий случай. Пересказывая содержание английских сводок, она никогда не говорила, что узнала об этом от профессора: могут ведь и не подумав кому-то сболтнуть – вот, мол, какой у Люськи хозяин, Англию слушает... Из этих же сообщений она умолчала о своем и профессора участии в побеге Зойки Мирошниченко. В лагере про побег знали – в апреле приходили какие-то в штатском и все допытывались, не видал ли кто Зойку. Когда девочки рассказали об этом Людмиле, она разыграла удивление и испуг: надо же такому случиться, куда, в самом деле, могла эта Зойка подеваться...

Сейчас она рассказала о нашем наступлении на Орел и Белгород, но новость никого не поразила: оказалось, что об этом уже все знают, хотя лишь в самых общих чертах.

– Ну вот, а я-то думала вас порадовать! Нарочно из-за этого и прибежала.

– Не, мы еще третьего дня слыхали, на работе один поляк сказал.

– Где вы сейчас работаете?

– А нас теперь каждый день в Фридрихштадт гоняют, на сортировочную. «Рангир-банхоф» называется. Там и военнопленные работают – наши с поляками.

– И наши есть?

– Есть. Мы им тут хлеба насобирали, табаку... Охрана у них, конечно, построже, чем у поляков, но девочки уже сориентировались – одна начнет часовому зубы заговаривать, а другие кидают через проволоку. Работаем вроде рядом, а у пленных свой участок, колючкой отгорожен.

– Откуда же вы берете табак? – удивилась Людмила.

– Да ну какой табак, отходы – так, вроде пыли. Девчата со второй штубы на сигаретной фабрике работают, они и выносят потихоньку. Слышь, Люсь, – Аня понизила голос. – Я почему спросила насчет твоего профессора, не врач ли. Ты ведь вроде говорила, что он ничего, не вредный?

– Нет, он хороший человек.

– Ну да, я почему и вспомнила – может, думаю, врач, так можно было бы спросить...

– О чем спросить?

– Может, лекарств каких достал бы, для пленных хлопцев.

– Ну, откуда же... У них есть домашняя аптечка, обычная – йод, пластырь, всякие капли – от сердца, от желудка... А какие именно лекарства нужны?

– Да они напишут! Они только узнать просили – есть ли, мол, такая возможность. Они думали, может у нас в медпункте врач свой, из советских, в некоторых лагерях и точно свои врачи. А у нас видишь как с этим. Марийка вон на той неделе руку ошпарила на кухне, так этот паразит даже мази никакой не дал. «Никс шлим», говорит, – и так, мол, заживет.

Людмила задумалась. У Штольницев есть знакомый врач, иногда приходит к профессору играть в шахматы; профессор говорил, что он лечит всю нацистскую верхушку Дрездена, берет огромные гонорары, а на эти деньги помогает семьям политзаключенных. Насчет гонораров можно было поверить – Людмила раза два заходила к доктору Фетшеру на Христианштрассе за какими-то рецептами для фрау Ильзе и не могла не обратить внимание на великолепное оборудование кабинета; но действительно ли он помогает антифашистам, или просто профессору захотелось представить ей своего приятеля в более выгодном свете? Хотя, казалось бы, чего ради...

– Аня, – сказала она, – вы когда снова увидите этих хлопцев?

– Да как получится. Может, и завтра, а может, нет, там ведь куда погонят. Получится опять так, что будем работать рядом, значит и подойти можно будет. А чего?

– Аня, ты вот что сделай. Пусть они напишут список – самое необходимое, и сколько чего надо, понимаешь? Если среди них есть врач – ну или хотя бы фельдшер, – пусть названия медикаментов напишет по-латыни, как на рецептах, понимаешь? Иначе можно перепутать, я ведь не все лекарства знаю, как они называются по-немецки...

– Ты все-таки через немцев хочешь попробовать?

– Через кого же еще, других возможностей у меня нет. Вы на работу каким путем ходите?

– А вот на штрассу выйдем и прямиком топаем до самой Эльбы. Ну а на той стороне как трамвайные пути перейдем, так после вниз, под мост. После там сразу товарная станция и будет, по леву руку.

– И с работы возвращаетесь тем же путем? Тогда вот что, Аня, – завтра я не смогу, мне утром надо вернуться к хозяйке, а дня через три постараюсь вырваться. Я вас буду ждать на перекрестке – ты какие трамвайные пути имеешь в виду, на Хамбургерштрассе?

– Да там других нема. Вот так трамвай, а нас поперек ведут – улица вроде Флигельбек называется, увидишь – вниз так идет, под горку, и под железнодорожный мост. Там еще на углу два дома, приметные такие – трехэтажные, с красного кирпича, а балконы деревянные, балочки такие вырезные...

– Хорошо, найду. По-моему, я знаю это место. Значит, встретимся там, и ты мне тогда передашь список, если уже успеете достать. Сегодня суббота? Да, давай в среду – это будет двадцать восьмого...

Из лагеря Людмила ушла в половине девятого и домой вернулась вовремя; профессор, услышав ее, выглянул из кабинета и объявил, что новости становятся все более интересными, поэтому ни в какой Шандау он завтра не едет – пусть она возвращается одна и скажет, что ему пришлось остаться здесь до понедельника.

– Посмотрим, как фрау Ильзе к этому отнесется, – зловеще сказала Людмила.

– А это уж как ей будет угодно, – отозвался профессор, впадая в лихость. – Впрочем, ты можешь сказать, что меня вызвали на консультацию или еще куда-нибудь.

– Господин профессор! Вы толкаете меня на ложь?

– Вздор, какая там ложь. Немного хитрости, дочь моя, в данном случае вполне оправданной.

– Тогда договоримся: я навру фрау Ильзе насчет вас, а вы в среду скажете, чтобы я вечером съездила в Дрезден и что-нибудь вам привезла.

– Тебе в среду вечером надо быть здесь?

– Да, или в четверг. Но лучше в среду.

– Бога ради! Скажу, что забыл нужную книгу, и поезжай на здоровье. У тебя поклонник в этом лагере?

– Что вы, какие поклонники, я там вообще ни с кем не знакома в мужском секторе. Господин профессор, вы не знаете – доктор Фетшер сейчас в Дрездене?

– Надо полагать, если не забрали на фронт. Впрочем, Райнера не заберут, об этом уже наверняка позаботились высокопоставленные пациенты. А что тебе от него надо?

– Посоветоваться, у меня что-то... вроде фурункула.

– Фурункул! – воскликнул Штольниц. – Это скверная штука, Людхен, очень скверная! Я помню, как меня донимали фурункулы в шестнадцатом году, в окопах... кажется, это так и называлось – «окопный фурункулез». Ты непременно покажись Райнеру, непременно. Я позвоню сегодня же, и утром можешь к нему сходить.

– Нет, утром я не пойду, я обещала фрау Ильзе вернуться утренним поездом, там много дела. А вот в среду или в четверг, если вы сможете договориться...

– Разумеется, я с ним договарюсь. Да, так вот – относительно Восточного фронта! Сейчас передавали статью одного английского корреспондента, который там побывал, под Курском. Фантастика, дочь моя, такого я даже не мог себе представить! То есть мы там так осканда-

лились с этим пресловутым летним наступлением, такой получился конфуз – просто неслыханно. Генерал-фельдмаршал Клюге на своем северном участке вообще ничего не смог сделать – целую неделю штурмовал русские позиции, положил не менее шести дивизий, но так и не сдвинулся с места. С юга на Курск наступали войска Манштейна – им удалось сперва потеснить русских километров на сорок, но потом выдохлись и они. К двенадцатому – а сражение, заметь, началось пятого – всего неделя прошла! – к двенадцатому июля мы уже совершенно обессилели. И тогда ударили русские, одновременно на юг и на север, причем сразу перешли от обороны к наступлению – а это, дочь моя, совсем не просто сделать, о нет! Я сам когда-то воевал и хорошо себе представляю, что это значит – поднять в наступление войска, которые до этого целую неделю отбивали атаку за атакой... Знакомы тебе те места?

– Какие места?

– Между Орлом и Белгородом, неужели трудно сообразить!

– Между Орлом и Белгородом... – Людмила задумалась. – Я однажды там проезжала, поездом из Москвы... Да, конечно, после Орла был Харьков.

– Какой там рельеф, не помнишь?

– Степь, но довольно холмистая. И еще... такие большие овраги. А лесов, кажется, нет...

Она, замолчала, припоминая, потом вдруг опустила голову и закрыла лицо ладонями. Профессор посмотрел на нее удивленно.

– Людхен, ты что... – он не договорил, встал и, пройдясь по комнате, остановился рядом и осторожно положил руку ей на голову.

– Ну, ну, не надо, – сказал он ворчливо. – Прости меня, старого осла. Успокойся, дочь моя, поплачь и успокойся. Теперь уже недолго... дотерпим как-нибудь...

Утром он проводил Людмилу на пригородный поезд и на вокзале услышал в сводке последних известий короткое сообщение из Рима: дуче Муссолини ушел в отставку по состоянию здоровья. Профессор пустился домой чуть ли не бегом и до обеда не отходил от приемника. Вести были самые противоречивые – Стокгольм сообщал об аресте диктатора, более осторожное швейцарское радио высказывало предположение, что он вынужден был подать в отставку из-за разногласий с Виктором-Эммануилом, Рим вообще не передавал ничего, кроме бельканто.

– Распелись, – заметил профессор, подмигнув бюсту Минервы на книжном шкафу.

Следовало бы, конечно, поработать, раз уж остался в городе, но Штольниц почувствовал вдруг полнейшее безразличие к проблеме влияния итальянских школ на Луку Кранаха Старшего. Интересно другое: если Италия заключит сепаратный мир, догадаются ли союзники высадить десант на северном побережье Адриатики? Оттуда ведь до австрийской Каринтии рукой подать! Но тогда уже и в Лигурии, чтобы встречным маневром отсечь Пьемонт и Ломбардию...

Снова засунув рукопись в ящик письменного стола, профессор достал большой атлас и раскрыл на карте Аппенинского полуострова. Да, разумеется, лучшего варианта и быть не может – одновременно удары по двум направлениям: здесь на Южную Австрию, а там через Савойю на Верхний Рейн. Оккупационные войска во Франции вряд ли смогут оказать серьезное сопротивление, юг Австрии не укреплен – из района Удине можно ударить прямо на Клагенфурт...

Профессор уже прорвал фронт и вышел на оперативный простор, когда в прихожей звякнул колокольчик. Пришлось идти открывать. На лестничной площадке было темно – она обычно освещалась сквозь большой разноцветный витраж, но год назад какой-то ретивый дурак из «Люфшутцбунда» приказал испакостить его синей краской; профессор увидел только, что перед дверью стоит офицер с большим портфелем и в надетой набекрень фуражке – но не Эгон. Сын был коренастее, шире в плечах.

– Хайль'тлер! – рявкнул незнакомец, вскидывая правую руку.

– Да, да, – уныло согласился профессор, – хайль. Чему, простите, обязан...

– Профессор доктор Карл Иоахим фон Штольниц? – спросил офицер суровым голосом. – Год рождения восемьдесят третий, служили в Саксонском карабинерном, за Марну имеете «э-ка-один»⁴?

– Вы совершенно правы, – подтвердил профессор уже с опаской; по нынешним временам, информированность посетителя ничего хорошего не предвещала.

– Господин фон Штольниц, у меня для вас прекрасная новость. Поздравляю! Приказом имперского уполномоченного по тотальной мобилизации вы подлежите немедленному призыву в действующую армию. Прыгать с парашютом приходилось?

– Но позвольте! – возопил профессор, не сразу обретя дар речи. – Тут явное недоразумение, меня давно...

– Никакого недоразумения! Фюреру нужны солдаты! На фронте полно калек! А вы вон каким молодцом, дядя Иоахим!

Офицер рассмеялся и сгреб профессора за плечи, вталкивая в прихожую.

– Эрих! – тот наконец узнал гостя. – Ах, негодяй, чуть меня до инфаркта не довел. Откуда ты взялся? Как я тебе рад, мой мальчик, только шутки у тебя... Ну, с приездом! Сколько же это мы не виделись – два года?

– Скоро три, я заезжал к вам из Франции... – Дорнбергер повесил на вешалку пояс с кобурой, расстегнул китель. – Тетушка не обидится, если сниму? Убийственно жарко.

– Раздевайся, здесь никого нет – они в Шандау, это вот я только вырвался на денек. Почему ты не написал? – мог и не застать.

– Да так... потом объясню. Письмо из лазарета вы получили?

– Разумеется, и сразу ответили.

– Да? Значит, пропало... – Он вошел в кабинет следом за профессором, улыбнулся, увидев раскрытый атлас. – Новости вы, я вижу, уже слышали.

– Новости просто великолепные, Эрих, через каких-нибудь две недели союзные войска могут быть у южных границ Австрии...

– Вы все такой же оптимист, дядя Иоахим.

– Да, но если Италия выйдет из войны...

– То мы ее тут же оккупируем, всю от Альто-Адидже до Калабрии, и сделаем это очень быстро. Чтобы захватить “свободную зону” Франции, нам не понадобится и суток. Так что ждать союзные войска у наших границ пока преждевременно. Что с Эгоном?

– Он, к сожалению, в Сицилии. Была надежда, что его тоже взяли в плен в Тунисе, но... – Профессор помолчал, побарабанил пальцами. – Кстати, я с ним больше не переписываюсь. Ильзе пишет. А мне ему сказать нечего. Мне нечего сказать своему сыну, понимаешь! Непостижимо – почему, за какие мои грехи у нас в семье вырос человек с интеллектом унтер-офицера сверхсрочной службы? Я не могу этого понять, Эрих, ведь ему было уже четырнадцать лет, когда эти питекантропы пришли к власти, – и он сразу принял все, принял безоговорочно, он уже в старших классах гимназии стал убежденным наци. Он ведь и в армию пошел нарочно, чтобы поломать «гнилую семейную традицию», как он это называл. Да-да, окончил гимназию и пошел в юнкерское училище! Ландскнехт – после четырех поколений гуманитариев... Я ведь тебе тогда о многом не рассказывал, было стыдно. Этой весной он... приезжал в отпуск. На двенадцать дней. Страшно признаться, но я испытал почти облегчение, когда он уехал...

– Не исключено, что здесь все гораздо сложнее, – после паузы сказал Эрих. – Думаю, он и сам уже все понял, только не хочет признать, что был не прав. Самолюбие мешает, или бывает

⁴ «ЕК-I» (сокр. нем.) – Железный крест I класса.

своего рода самозащита, когда в чем-то боишься признаться даже самому себе. Как тетушка Ильзе себя чувствует?

– Неплохо для своего возраста. Теперь ей полегче: у нас живет одна девушка из «восточных работниц», с Украины.

Дорнбергер поднял брови.

– Говоря откровенно, дядя Иоахим, роль рабовладельца вам не очень-то к лицу.

– Не носи вздора. Для нас она – член семьи, хотя и помогает Ильзе по хозяйству... Ты со мной пообедаешь?

– Спасибо, не откажусь.

– Вот и прекрасно, я как раз собирался. Кстати, мы так и не поняли из письма – каким образом тебе удалось оттуда выбраться?

– О, это настоящий детектив. Дело в том, что меня снова пытались запихнуть в науку, от чего я не без труда отбрыкался. Благо к строевой службе я уже, как видите, не годен.

– Да, ты ведь хромаешь, я заметил.

– И еще как! Особенно перед врачами. С этим роскошным увечьем, дядя Иоахим, мне до конца войны обеспечено уютное теплое местечко штабной крысы.

– И при каком же ты теперь штабе, если не секрет?

– О! Я теперь в верхах. При главном командовании сухопутных войск – ни больше ни меньше. Штаб армии резерва, если уж разглашать военные тайны до конца.

– М-да... Не знаю, не знаю. Честно говоря, мне не совсем понятно, что такого ужасного может быть в работе физика. Чтобы предпочесть армию? – он пожал плечами. – Все-таки наука...

– Благодарите господ бога, что он сохранил у вас столь идиллические представления о науке. Имя Фрица Габера вам не знакомо? Был такой ученый муж, химик, в тринадцатом году открыл способ получения азота из воздуха, а затем вооружил нас газами... Сперва хлором, а позже и другими, куда более изысканными составами. Я иногда думаю, сколько убитых из общего числа потерянных Германией в ту войну можно записать на личный счет господина доктора Габера. Мой отец, в частности, мог бы жить и сегодня – если бы не искусственная селитра, позволившая кайзеру начать войну... Вот так-то. А теперь я, с вашего позволения, проследую в ванную.

За столом засиделись долго – пока не прикончили привезенную гостем бутылку «йоханнисбергера». Профессор все расспрашивал о настроениях в берлинских штабных сферах, но Эрих на эту тему не распространялся. Не поддержал он и разговора о положении на фронтах, сказав лишь, что положение скверное всюду, а на Востоке особенно.

– Ты здесь по службе или специально заехал навестить? – спросил Штольниц.

– Командировка в штаб округа, завтра еду обратно.

– Переночуешь, разумеется, у нас?

– Ну зачем же. Я превосходно устроился в «Ганза-Отеле», рядом с вокзалом. Есть, видите ли, одно обстоятельство... Я даже колебался, стоит ли вообще сюда заходить. Дело в том, что... ну, среди моих новых сослуживцев много людей, настроенных довольно критически. В армии же, вы сами понимаете, это не поощряется. Поэтому меня не удивит, если в один прекрасный день выяснится, что я и сам числюсь в неблагонадежных... Все-таки постоянное общение – кто там будет разбираться, случайно я оказался в компании этих господ или пришел к ним как единомышленник...

– Что за вздор, помилуй, – удивленно сказал профессор. – Ты хочешь сказать, что это может затронуть и меня?

– А почему бы и нет.

– Но с какой стати? Предположим, ты действительно оказался в чем-то замешан, но при чем здесь я? Если бы ты завязал знакомство со мной, уже будучи... гм... «неблагонадежным»,

как ты это называешь... это могло бы дать повод к подозрениям, согласен. Но я-то ведь тебя знаю с детства!

– Все так, но лишняя осторожность... Не знаю, впрочем, может быть, вы и правы; во всяком случае, счел долгом предупредить.

– А, вздор, – профессор посмотрел на часы. – Ты не хочешь послушать Лондон?

– Не имею ни малейшего желания. Мало мне наших радиопроституток – еще слушать заморских. Что нового они скажут?

– Да хотя бы – что в действительности произошло в Риме.

– По-моему, и так совершенно ясно, что там произошло. Детали несущественны, а что касается общей обстановки, то мы о ней осведомлены довольно точно.

– Ну, у меня ведь нет доступа к вашим источникам информации. Да и потом, надо же время от времени отдохнуть душой...

– Это что, уж не британское ли радио ниспосылает отдохновение вашей душе?

– Да, после всей этой лжи услышать наконец что-то правдивое...

– Правдивость, положим, относительная. Они говорят правду, когда это им выгодно, а в других случаях врут не хуже нашего Колченогого... разве что не так грубо. Прошлым летом, когда Роммель пер на Александрию, лондонские обозреватели тоже не очень-то правдиво освещали обстановку в Ливии.

– Ну, во время войны, согласись, не всякую информацию можно делать всеобщим достоянием.

– Вот и Геббельс так считает. В чем же тогда разница между этими и теми? Да нет, дядя Иоахим, для меня все-таки враг есть враг.

– Извини, я и впрямь перестаю тебя понимать, – сказал Штольниц. – Чего доброго, ты скоро заговоришь, как мой Эгон. Неужели армия так влияет?

– Нет, я не заговорю, как Эгон, – Дорнбергер покачал головой. – Эгон, вы сказали, одобряет режим; я его не одобряю. Но армия, если угодно, действительно повлияла на меня в одном смысле: я видел, как рядом со мной умирали мои товарищи – не нацисты, нет, а обычные немцы, как мы с вами, – и я теперь не могу, например, назвать «великолепными новостями» известие о нашем очередном поражении...

– Погоди, погоди, – прервал Штольниц. – Это, милый мой, становится серьезнее, чем я думал. Давай уж выясним вопрос до конца! Прежде всего, хочу тебе напомнить, что «великолепной» я назвал новость о падении Муссолини – то есть о поражении не военном, а политическом. Когда разразилась сталинградская катастрофа – я, поверь, не злорадствовал; да, я считал и продолжаю считать, что в конечном счете это к лучшему, ибо приближает конец нацизма, но радости не испытывал. Потому что я, представь себе, тоже немец, и тоже был солдатом. Но, Эрих, будем рассуждать логично: чего, собственно, ты желаешь сегодня для Германии – победы или поражения? Сам я решительно желаю поражения, потому что победа Германии в этой войне означала бы поистине «закат Европы» – да такой окончательный и беспросветный, что не мог бы присниться никакому Шпенглеру! Наш фюрер – это тебе не «старый добрый кайзер», который в случае своей победы ограничился бы колониями да контрибуциями...

– Разницу между Гитлером и Вильгельмом я и сам вижу, и полностью разделяю ваше представление о том, чем была бы для Европы победа Гитлера. Но вот представления о том, чем будет для Германии победа наших противников, у вас нет. Поэтому вы так легко и объявляете себя решительным сторонником поражения. А поражение между тем вообще покончит с Германией как с единым самостоятельным государством: нас просто разорвут на куски. Этого, как вы понимаете, я своей стране желать не могу.

– Но позволь! Что же для тебя в конечном счете важнее – тысячелетнее наследие всей нашей – общеевропейской! – христианской культуры или... или эта насквозь прогнившая германская государственность, которая уже семьдесят лет – со времен Бисмарка – делает все воз-

можное, чтобы мы, немцы, были пугалом и посмешищем для всего мира? Что мы дали человечеству за это время – мы, подданные «второй» и «третьей империй»? Весь наш вклад в мировую культуру был сделан раньше, а потом? Крупповские пушки? Лучшая в мире химия? Иприт, аматол, а между делом – невыцветающие красители? Ты болван, Эрих, если можешь беспокоиться о судьбах нашего «единого самостоятельного государства» – сегодня, когда мы докатились до самого чудовищного духовного обнищания, до какого не докатывалась ни одна нация! Ты, может быть, этого и не замечаешь, для тебя искусство всегда было *terra incognita*, – но поинтересуйся хотя бы! В немцах погашен дух творчества, мы разучились писать книги, сочинять музыку, даже строить дома – да, да, и строить! Выйдешь отсюда – не поленись, зайди в Цвингер, это отсюда пять минут – вон, посмотри, Коронные ворота видны из того окна. Зайди во двор и постой посередке, между фонтанами, постой и не спеша, внимательно оглядись вокруг – увидишь, что мы умели создавать двести лет назад, а ведь Пёппельман даже не был звездой первой величины, никто никогда и не считал его этаким немецким Бернини, – просто талантливый архитектор с хорошим вкусом, его ученики и последователи были ничуть не хуже – Кнёффель, скажем, или Шварце, который достроил колокольню Хофкирхе, – так вот, говорю я, посмотри повнимательнее, черт тебя побери, и сравни его работу с нынешним мегалитическим убожеством, что громоздят все эти тросты, крейсы и шпееры! Я тебе сейчас покажу мартовский номер «Баукунст» – он у меня в кабинете, я нарочно сохранил! – сейчас увидишь, они не постеснялись опубликовать проекты этих монструозных – не знаю даже, как назвать, – пирамид, братских могил высотой в полтора метра, мавзолеев – словом, усыпальниц «павших героев» – это нечто... невообразимое, Эрих, дурно становится от одной мысли, что все это и впрямь могло быть сооружено...

– Нет, это немыслимо, – сказал Дорнбергер, вскакивая из-за стола. – Да что мы, проклятые, на разных языках, что ли, разговариваем?! Что мне до архитектуры, если перед нами стоит вопрос – быть или не быть Германии! Вы меня спросили, чего я желаю – победы или поражения; так вот: я одинаково боюсь как того, так и другого, потому что наша победа была бы торжеством нацизма, а поражение станет нашей национальной гибелью...

– Очень логично! В высшей степени! У тебя есть третий вариант?

– Да, есть: покончить с нацизмом раньше, чем это сделают армии противника! Вам хорошо рассуждать о желательности поражения, сидя здесь и любуясь видом на Цвингер, а я был в России, и я теперь знаю одно – да смиляется над нами бог, когда русские окажутся на немецкой земле. Они, господин профессор, сначала сровняют с землей все эти ваши шедевры архитектуры, а потом начнут истреблять нас, как собак, и будут правы! Я под Сталинградом видел вымерший лагерь русских военнопленных, – только один, на Украине их сотни! – мерзлые трупы были сложены, как дрова, в поленницы выше человеческого роста! Вы думаете, это нам простят? Да они просто не имеют права простить такое, если есть на свете справедливость! Нас уже после той войны считали варварами и гуннами – за применение газов, за репрессии против гражданского населения в Бельгии, я уж не знаю за что еще; кажется, сожгли какую-то библиотеку и разрушили какой-то собор. А кем нас считают теперь? Если ваши хваленые англичане уже рассчитываются с нами за Ковентри своими террористическими налетами, за один раз убивая больше детей и женщин, чем погибло от наших бомб во всей Англии, – попытайтесь представить себе, какова будет окончательная расплата!

Выкрикнув последние слова, он быстро отошел к окну и остановился спиной к комнате, держа руки в карманах бриджей. Профессор сидел опустив голову, катал по скатерти хлебный шарик.

– О, у меня нет иллюзий на этот счет, – сказал он наконец, – платить придется не только нам, но и нашим внукам. Ты сам признал, что это справедливо. И дело даже не в возмездии... Я как-то никогда не мог ассоциировать идею возмездия с идеей справедливости, хотя формально они ассоциируются. Предпочитаю говорить о справедливости и искуплении – вот

эти два понятия действительно близки. По-настоящему близки! А без искупления нам уже не обойтись. Если отдельному человеку сплошь и рядом приходится искупать свою вину... иной раз даже невольную... то можно ли допустить возможность того, что неискупленной окажется такая страшная – и отнюдь не «невольная»! – вина целой нации...

– Не знаю, – отозвался Эрих. – Вас заносит в метафизику – всеобщая вина, искупление... А я просто физик, безо всяких “мета”, и этим все сказано. Пусть в глазах остального мира виноваты мы, все немцы без исключения, но среди нас есть ведь главные виновники, – мы-то знаем их поименно! – и вот с ними народ должен рассчитаться сам, не перекладывая этой задачи ни на русских, ни на англичан. А теперь поставим точку на этом разговоре и будем считать, что он носил чисто теоретический характер... – Эрих вернулся к столу, разлил остатки вина. – Прозит! Жаль, что не могу навестить тетюшку Ильзе, но вы передайте ей поклон и скажите, что в следующий раз непременно увидимся.

– Благодарю. Приезжай, она будет рада, а заодно познакомишься с Люси.

– С кем познакомлюсь?

– Ну, я же тебе говорил – наша домашняя помощница.

– А-а.

– Ее мать, кстати, твоя коллега.

– Скажите на милость. Мировое поголовье физиков, я вижу, растет в угрожающей прогрессии. И что же, фрау доктор теперь тоже в Германии? Прачкой, прислугой?

– Нет, они расстались в самом начале войны. Мать эвакуировалась по срочному приказу, самолетом, а семьи должны были ехать поездом, но не успели. Я не знаю подробностей – Люси не любит говорить на эту тему.

– Мать эвакуировалась самолетом? – переспросил Эрих, забыв опустить на стол пустой бокал. – Любопытно... Девушка, говорите, с Украины – а точнее? Не из Харькова?

– Харьков... Нет, она называла другой город... гм, забыл. И даже показывала на карте – Харьков восточнее Днепра, если не ошибаюсь, а этот здесь, по эту сторону. А в чем дело?

– Нет, ничего! – не сразу, словно спохватившись, отозвался Эрих. – Просто она должна была заниматься чем-то чертовски важным, если ее эвакуировали по воздуху. Да еще, говорите, в самом начале войны? Любопытно. Я охотно познакомлюсь с вашей помощницей – в следующий приезд.

– Тебе много приходится ездить?

– Да, почти все время...

Глава 6

Профессор вернулся в Бад-Шандау лишь во вторник, а на следующее утро объявил, что должен опять ехать в город: забыл нужную для работы книгу. Супруги препирались до самого обеда, пока наконец фрау Ильзе не сказала, что если так уж необходим этот Буркхардт, то пусть его привезет Люси.

– Пусть привезет, – согласился профессор и украдкой подмигнул Людмиле. – Поезжай тогда сегодня же, пятичасовым. И если второго тома на месте не окажется, то ты тогда позвонишь господину Хрдличке – его телефон найдешь в старой книжке – и спросишь, не у него ли он. Помнится, я ему однажды одалживал, именно второй том. В таком случае ты сходишь к нему. Это на Бюргервизе, по соседству с тем домом, где живет фрейлейн Палукка – ты однажды относил ей записочку, помнишь?

– Да, я помню, где это. Но, господин профессор, если мне придется звонить, а потом еще идти за книгой туда, я могу не успеть на утренний поезд.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.